

НЕСТОР КОТЛЯРЕВСКИЙ

ПУШКИН

НЕСТОР КОТЛЯРЕВСКИЙ / ПУШКИН

НАУЧНАЯ МЫСЛЬ / БЕРЛИН

Александр 1925.

ПУШКИН

НЕСТОР КОТЛЯРЕВСКИЙ

ПУШКИН

КАК

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная

Пушкин



„НАУЧНАЯ МЫСЛЬ“ / БЕРЛИН 1925

*Alle Rechte, besonders das
der Uebersetzung, vorbehalten*

Gedruckt von Gebr. Hirschbaum in Berlin O 27

ПРЕДИСЛОВИЕ

Литература о Пушкине разрослась до огромных размеров. Но, ни полной биографии поэта, ни полного очерка развития его творчества мы не имеем. Причин, почему и как такой национальный долг перед памятью поэта накопился — очень много. Но во всяком случае их не должно искать ни в малой любви нашей к Пушкину, ни в малом желании посвятить свои силы жизнеописанию и истории вдохновения того поэта, которого все наши художники слова признавали своим учителем и творения которого считали идеалом своих художественных стремлений.

За последние сто лет нашей культурной жизни мы жили очень торопливо и нервно. Смена миропониманий и мироощущений в идущих друг за другом поколениях была такая быстрая, что большая научная работа, какой естественно должен был быть исчерпывающий труд о Пушкине, подпадала неизбежно под влияние весьма отличных друг от друга взглядов и настроений. Уберечься от таких влияний исследователю было невозможно, если он собирался говорить именно о Пушкине, творчество которого так тесно связано со всей культурной историей недавнего нашего прошлого. Большая, подводящая итоги ученая работа о Пушкине требовала многих и многих лет и за эти годы так менялись взгляды на существенные запросы нашей жизни, так менялись общественные настроения и так мог меняться и сам исследователь, что выдержанность, закругленность, монолитность исследования становились почти недостижимы. Речь шла о художественных созданиях, которые в продолжении ста лет

сохраняли для русского ума и души всю полноту своего смысла и обаяния, а потому и суждения о них и обо всем, что писал Пушкин, не могли не быть в зависимости от той или иной исторической минуты.

Как бы то ни было, но большой долг за нами остался, и когда-нибудь погасить его надо. В ожидании такого погашения не следует, конечно, прерывать текущей работы. Она и не прерывается. Каждый год „Пушкиниана“ обогащается новыми исследованиями, критическими и лирическими статьями, статьями общего и частного характера, матерьялами, заметками и поправками.

Среди всех этих работ отсутствие двух вспомогательных книг дает себя чувствовать. Нет книги, которая могла бы помочь разобраться в огромной массе всего о Пушкине написанного. В лесах „Пушкинианы“ легко заблудиться. Рискуешь пройти мимо существенного или потратить много времени на ознакомление с малоценным или просто ненужным. Путеводитель, не только указывающий книги и статьи по тому или иному вопросу, но и определяющий их ценность — мог бы оказать большую помощь всем, кто либо желает отдать свой труд на изучение Пушкина, либо вообще ищет сближения с ним.

Другая книга, которой недосчитываешься — это суммарный обзор пережитого, передуманного и перечувствованного поэтом — своего рода систематическая выборка из его сочинений и из того многого, что было писано об его жизни и творчестве. Такая сводка ничего не скажет тем, кто уже до известной степени стал специалистом в области Пушкиноведения. Но существует много людей, которые хорошо знают сочинения Пушкина, но не имели и не будут иметь времени читать книги и статьи о нем. Нельзя забывать также и о тех, кто придет нам на смену и когда-нибудь пожелает „приступить“ к изучению Пушкина. Для всех новичков и людей мало осведомленных в деле, книга общего содержания, доступного размера, книга, говорящая о жизни и творчестве Пушкина, излагающая его взгляды на разные вопросы жизни, отмечающая те настроения, которые он переживал, и все это в рамке его исторической эпохи — была бы не лишней. „Изучать“ Пушкина по такой книге, конечно, нельзя; но получить сразу понятие о том историческом явлении, которое именуется: Пушкин и его творче-

ство — можно. Мимо многого пришлось бы пройти; но самое существенное могло бы быть уловлено.

На составлении такой книги решил я испытать свои силы. Требования, какие эта книга себе ставит — самые скромные. Стремится она:

Изобразить Пушкина, как лицо историческое на фоне его времени;

Изложить жизнь поэта, не вдаваясь ни в какие детали, но не опуская ничего существенного;

Расчленив мирозерцание поэта по тем вопросам теоретическим и практическим, по которым он высказывался;

Дать обзор пережитых им настроений, не раздробляя их по отдельным моментам его жизни, а взяв их как целое;

Привлечь при выполнении задачи кроме поэтических созданий Пушкина все его прозаические труды как критика, публициста и историка, а также и его переписку;

Заставить Пушкина, по возможности, во всех случаях говорить за себя своими словами.

Содержание сочинений Пушкина и историю их последовательного создания предполагал известным.

Всякой полемики я тщательно избегал и чтобы не быть во власти моего времени, старался заставить себя забыть обо всем, что произошло после 29 января 1837 года.

Я имел очень многих сотрудников. Если бы я пожелал перечислить одни их имена, то заполнил бы ими не мало строк. Но я обо всех о них умолчал, так как думал, что читателю, на которого эта книга рассчитана, список моих работодателей совсем не интересен.

Я охотно и свое имя снял бы с книги, но за ее план, за выполнение этого плана и за кое-какие мысли в ней попадающие я ответственен.

I

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЭТ

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
и назовет меня всяк сущий в ней язык.

Слова Пушкина сбылись и если не все языки, населяющие Россию говорят о нем, то вина не его. В какой бы уголок России ни проникла культура, она несет с собой его имя и его творения.

Он наш поэт национальный, первый художник, со слов которого мы начинаем учиться любить и ценить наш народный гений. Он друг нашего детства, нашей юности, и создания его предмет раздумья и исследования наших зрелых лет и нашей старости.

Но не в одном только этом смысле имеет Пушкин право назваться нашим национальным поэтом... Он — первый из наших художников слова, который заменил иностранную или русскую книгу живым непосредственным наблюдением над русской жизнью.

После него и после Гоголя, его ученика, мы так привыкли к тому, что художник говорит нам о нашей родине, о личной, семейной и гражданской нашей жизни, наконец о себе самом, как об известном культурном типе, — что мы и представить себе не можем такого времени, когда писатель не выполнял бы этой задачи. Конечно, строго говоря, такого времени никогда и не было; всегда слова писателя так или иначе с окружающей его жизнью были связаны. Но были времена, именно те,

которые предшествовали приходу Пушкина, когда свободному общению художника с жизнью препятствовали разные чисто формальные литературные, старые традиции, соблюдать которые художник считал своим долгом; препятствовало произвольное деление явлений жизни на достойные художественной обработки и на недостойные, и наконец препятствовала и малая осведомленность писателя в вопросах современной ему жизни, многими сторонами которой он совсем не интересовался.

Времена когда художник был так разобщен с жизнью, отчасти по доброй воле, отчасти по тому литературному воспитанию, какое он получал в школе иностранной, — давно прошли и редко бывали случаи, когда писатель, но уже вполне умышленно, стремился заменить жизнь реальную миром чистой фантазии, не согласуя их, а противопоставляя их друг другу. В годы, предшествовавшие Пушкину, наоборот, необычайно редко были именно те случаи, когда художник у жизни, вокруг него кипящей, хотел чему-нибудь научиться и считал для себя обязательным не украшать и не искажать ее.

Пушкин был по времени нашим первым писателем, установившим между жизнью и творчеством гармоничное соотношение, которое стало потом, хоть и редко достигаемым, образцом эстетического отношения русского художника к действительности.

Пушкин не был первым по времени поэтом, которого произвела земля русская. Жуковский опередил его. Но именно на творчестве Жуковского легче всего убедиться в том, как истинный поэт был еще далек от той жизни, которую наблюдал своими глазами. Только Пушкин взглянул этой жизни прямо в лицо и показал нам, сколько в ней было красоты и поэзии.

В иностранных книгах Пушкин был очень начитан; в юности увлекался некоторыми из них, но еще совсем молодым человеком он от иноземных влияний освободился.

Все старые литературные приемы и традиции были Пушкину хорошо известны, но он в творчестве не признавал никаких заученных приемов и правил, и предоставлял самому вдохновению избирать для себя и внешнюю, и внутреннюю форму обнаружения. Он создал образцы лирики, эпоса и драмы совершенно отличные в своей художественной архитектонике

от тогда господствовавших и признанных совершенными. Не только свобода в выборе сюжета, но и свобода в обработке его была первой заповедью поэта.

Пушкин не делал щепетильной разницы между тем, что достойно быть претворенным в поэзию, и тем, что недостойно. Жизнь, как она есть, с ее прозой и поэзией, добром и злом, истинным и ложным была для него тем диким куском мрамора, из которого он высекал свои изваяния. И все приобретало под его резцом свою красоту, от дворца до крестьянской хаты, от гор и потоков Кавказа до равнин и озер нашего великорусского пейзажа, от сказочных богатырей до его добрых знакомых в усадьбах. Интерес к окружающей жизни был широчайший. О чем не успевал, не хотел или не мог говорить художник, о том говорил он как критик и публицист. Понимая, что далеко не все в жизни поддается художественной обработке, что есть матерьял, который грозит нарушить гармонию формы и содержания, Пушкин выучился оберегать свое творчество от многих житейских волнений, и мог не упрекать себя в этом, так как в иных словах и при ином случае, он на эти волнения откликался, но уже не как художник. Учитывая его удивительную чуткость и отзывчивость и его многогранный талант, жалеешь о том, что в его художественных произведениях современная ему русская жизнь далеко не полно представлена, что несколько задуманных им больших повестей и романов чисто бытовых, современных по теме и в строгом реальном стиле, остались невыполненными. Жалеешь, но думаешь — не мог же один человек, хотя бы и гений, в такой короткий срок как семьнадцать лет (1820-1836), создать почти из ничего русскую изящную словесность и упредить всех, кто за ним следовал.

То, что удалось создать было само по себе величественно по размерам и национально во всех смыслах. Только один перечень тем, которые были разработаны, говорит об исключительном значении творчества Пушкина для тогдашней России. Отстраняя все фантастическое, легендарное и историческое в его творениях, все, чем до него интересовались писатели, отмечая в его творчестве лишь то, что непосредственно было взято из современной жизни, — надо признать Пушкина большим новатором — жанристом, пейзажистом и пор-

третистом. Обе столицы, дороги столбовые и проселочные, города и усадьбы, пейзаж великорусский и малорусский, Крым, Кавказ, Бессарабия, Одесса и оренбургские степи... Служилое дворянство в столицах, помещики, писательская братия, военные, городской обыватель, дворяне, крестьяне, татары, черкесы, цыгане — мелькают на страницах рифмованных и на страницах повестей. Больших полотен нет: все больше картины малого и среднего размера, но все — этюды с натуры.

Для того времени это было — открытие; первые правдивые слова России о самой себе... первая национальная галерея.

Есть еще одна характерная черта в этих картинах и этюдах, для того времени также необычная. Личность художника часто заслонена людьми и природой, которую он рисует. В те годы художник всегда выдвигал свою личность на первый план. Сама жизнь была ему менее близка, чем его думы о ней и чувства, какие она в нем вызывала. Лирическое в литературе преобладало над эпическим.

Пушкин был великий лирик, но он умел быть и спокойным наблюдателем. И среди всех наших писателей до Пушкинской эпохи, писателей лирически настроенных, сентиментально чувствующих, патетически приподнятых, среди моралистов, проводников какой-нибудь общественной тенденции и сатириков, — он один был созерцатель художник, улавливающий красоту там, где она ему на глаза попадалась. О себе он в такие минуты не думал. Но бывало и много минут, когда он думал только о себе и его искренняя лирическая исповедь сохранила нам самый ценный портрет из галереи тогдашних художников и общественных деятелей... Это был портрет самого поэта — самого даровитого и самого чуткого русского человека его времени. Никто из наших поэтов не любил так откровенничать в стихах, как Пушкин. Самые разнообразные душевные переживания, настроения когда-либо налетавшие, мысли, которые в голове проносились, взгляды на многие коренные вопросы общественной жизни, вспышки политического темперамента — все ложилось на бумагу и выливалось в форму лирического стихотворения. И так как художник был вместе с тем одним из умнейших людей России, то его откровенные слова о себе были историческим документом его времени. По ним можно себе соста-

вить понятие о той высшей степени культурности, на которую поднялся русский образованный человек его эпохи. И в этом смысле лирика Пушкина была также национальным достоянием.

Предшественников, которые уготовили-бы ему путь, Пушкин не имел. Писателям XVIII-го века он ничем не был обязан. Ближайших учителей, Жуковского и Батюшкова, он опередил очень быстро и все, что им было создано принадлежало ему безраздельно.

Долги иностранцам были самые ничтожные и были им сделаны лишь в годы ранней юности. В зрелом возрасте он никому из них не должен и даже побывать в их среде ему не удалось. Власти были ревнивы и не хотели ни Пушкину показать Европы, ни Европе — его. Так он и остался в полном смысле нашим.

Россия должна была-бы к приходу Пушкина готовиться. Десятилетия, а может быть и века должны были-бы пройти в органической последовательной работе, прежде чем художник такого дарования мог появиться... Но судьба распорядилась иначе: — она дала его нам тогда, когда наша изящная словесность только что зарождалась и поручила ему сотворить ее почти что из хаоса.

II

1817—1836

Не должно преувеличивать зависимости творчества поэта от переживаемой им исторической эпохи. Иногда очень драматичная эпоха, увлекающая художников в своем водовороте, на творчестве их отзывается слабо, как бы мешает творческой работе. Иногда эпоха вялая и бесцветная дает полный простор страстям художника и полную свободу его фантазии. Такое вознаграждение себя в мире мечты за убожество действительности встречается на страницах истории чаще, чем вдохновенный отклик поэта на драматическое напряжение переживаемой минуты.

Для восстановления облика Пушкина как русского человека определенной эпохи — несколько беглых исторических

справок сделать должно. Надо отметить важнейшие исторические события, свидетелем которых он был. Обзор этих событий объяснит нам отчасти, почему его мирозерцание было такое ясное, спокойное, гармоничное, ровное, почему после обычных бурь юности он стал таким уравновешенным созерцателем того, что на его глазах творилось.

Много было писано о грехах второй половины Александровского царствования и режима Николая Павловича. Все эти грехи от Пушкина не укрылись. Он с самых юных лет внимательно следил за жизнью, его окружающей. Положение его в обществе, благодаря его связям и знакомствам, облегчало ему такие наблюдения. Осведомленность его была большая; дар критической оценки также большой; умение сказать верное и крылатое слово было исключительное; а гуманные и свободололюбивые убеждения его никогда не менялись. И при всем своем даре критического отношения к жизни русской, при всем своем понимании ее изъянов, грехов и преступлений, Пушкин на современное ему положение России смотрел доверчиво и благодушно. От обличений он не сторонился и темных сторон жизни не замалчивал, но удовольствия в обличении не находил, не считал его своим писательским долгом и любовь его к России вмещала в себе как признание ее грехов, так и признание ее добродетелей. В таком широком уравновешенном взгляде на действительность многое зависело от природных качеств ума, но многое также и от исторических условий его времени.

Творчество Пушкина падает на 1817—1836 годы.

Пушкину не удалось побывать за границей и живыми впечатлениями и наблюдениями он не располагал. С западной жизнью он мог знакомиться только по книгам и преимущественно по произведениям изящной словесности. Та огромная работа, которая шла тогда на Западе в области философской, научной, политической, социальной и религиозной мысли была Пушкину знакома только в самых общих чертах; времени не было внимательно следить за ней.

Знаний было много, но отрывочных; к некоторым вопросам интереса совсем не было, и наконец русская цензура делала свое дело. Но как бы отрывочны ни были сведения Пушкина об умственной жизни на Западе, он ее ценил высоко,

ставил русским в пример и никаких преимуществ за Россией в данном смысле не признавал.

Картина менялась, когда от раздумья над культурной силой Запада Пушкин переходил к оценке его политического положения.

Государственная политика на Западе, о которой много говорили в его кругах и которой Пушкин всегда очень интересовался, симпатий в нем никаких не будила. Его свободомыслие было далеко не столь глубоким, чтобы воспитать в нем апологета Великой Революции, от славословия которой он скоро отказался. Торжествующего Наполеона он совсем не любил и только поверженного полюбил как поэтический символ. К реставрации отношение было неустойчивое. Об июльской революции Пушкин молчал, не прощая ей должно быть Луи Филиппа, которого не терпел. Пушкин вообще французов не любил и ни в чем им не завидовал — и меньше всего в их порядках политических. Как Пушкин оценивал порядки в Англии в точности не известно, но что могла ему сказать Англия Веллингтона, Кестельри и разных торийских министерств? Вероятно не больше, чем Австрия Меттерниха. Ни красоты, ни силы, ни героизма не было во всех политических делах Франции, Англии, Австрии и Германии времен Пушкина. Одна только борьба за национальную и политическую свободу в Испании, Италии и Греции могла вдохновить поэта. О делах испанских и итальянских Пушкин имел, кажется, очень смутное понятие. Дела греческие он одно время принял близко к сердцу. Но могла ли Греция тех времен назваться культурной, и дела ее делами европейскими? Говоря о той оценке, которую Пушкин давал или мог дать политическому положению в Европе, не надо забывать, конечно, что эта оценка была суждением диллетанта. Но в основе своей она была верна. Эпоха двадцатых и тридцатых годов в Европе — если умалчивать о науках и искусствах — была бесспорно бесцветной эпохой политических и дипломатических ухищрений, направленных к тому, что бы обуздать свободу и героизм во всех их проявлениях.

Россия в данном смысле не составляла исключения, но Пушкин мог в оценке русских дел быть по крайней мере совершенно свободным от увлечения соседями. И кроме того в тогдашнем нашем политическом и международном положении

— как бы критически к нему ни относиться, — было нечто, что давало пищу очень широким надеждам.

Первое — это чрезвычайно быстрый рост нашей государственности. От Петра до Пушкина протекло всего лишь сто лет и царская Москва стала европейской державой. Если в культурности и образованности мы во всем отставали от соседей, то в государственном строительстве мы достигли большого. Мы уже не через окно, а через двери вошли в Европу. Да и в науках и в искусстве мы стали обнаруживать то же рвение и те же успехи, какие обнаруживали при Петре, когда дело шло о приобретении разных практических сведений. Просыпалась и быстро развертывалась сила нации, молодой духом, хоть и не молодой годами.

И память о героическом проявлении этой молодой силы в самом близком прошлом была свежа. Пушкин помнил 1812 г. и его славу. И вся Европа вспоминала о ней, и Россия была вершительницей судеб всего культурного мира. Дней Александровых начало всем было памятно. Многие мог Пушкин слышать об этих днях в тех кругах, в которых вращался — счастливых днях гуманных обещаний и начинаний. На глазах Пушкина эти обещания и начинания погибли. Конец царствования Александра опровергал все надежды и исключал возможность их воскресения. Царь старел, уставал, большая тревога овладела его духом. Россию он перестал любить, избегал жить в своей столице и отдал родину во власть людей, которые были прямой противоположностью тем, с которыми он начинал работу и с которыми так мечтал о благе подданных. Теперь царь думал только о том, как бы не быть самому себе в тягость... Пушкин давно царя разлюбил, относился с резкой антипатией и к его личности, и к его политическому курсу.

Но в 1825 году император скончался и все надежды могли возродиться, так как новый царь таил в себе все возможности, как неожиданно появившаяся личность, мало кому близко знакомая. Вступление Николая Павловича на престол ознаменовалось декабрьским восстанием. Для Пушкина оно было неожиданностью, так как с 1820 года он находился в ссылке, в Петербурге не был и ни от кого ничего о готовящемся не слышал. Когда восстание было подавлено, и Пушкин имел

время отдать себе в нем отчет, он его не одобрил, как не одобрял и жестокости царя. Но он сохранил любовь и уважение ко всем участникам выступления. Этот дворянский бунт имел в его глазах свой пафос. Гуманный образ мыслей, любовь к свободе, благородная смелость, героизм, страдания свидетельствовали о большой духовной силе, какой-бы наивностью, ненужностью, ошибкой и даже преступлением ни казалось само восстание. Во всяком случае веру Пушкина в Россию эта первая вспышка русского политического темперамента ни в каком случае поколебать не могла. Могла только укрепить эту веру.

Началось Николаевское царствование, которому суждено было длиться тридцать лет. Пушкин был свидетелем одиннадцати первых лет этого царствования.

История давно произнесла свой строгий суд над Николаевским режимом и сам он осудил себя в последний год своего существования. Но до этого года было далеко; царь был молод, бодр и очень крепко держал в руках бразды правления. Пушкин наблюдал царя с довольно близкого расстояния, то осуждал его, то хвалил; ссорился с ним и жил в дружбе. От тогдашних внутренних порядков Пушкин в восторге не был, часто возмущался, но в том, что он видел, он не мог подметить никакого ухудшения в положении. Правда, оно и не улучшалось и все традиции второй половины Александровского царствования сохранялись, но они не так резко бросались в глаза, как при покойном императоре. Каких-нибудь новых оскорблений и унижений ни гуманности, ни достоинству личности человеческой, ни просвещению в эти годы (1826—1836) не наносилось. Старые оскорбления остались в силе, но иногда могло казаться, что улучшение не исключено. Все сводилось к личности самого царя, в добрые желания которого Пушкин продолжал неизменно верить.

Внешнее наше положение никаких тревог не внушало. Европа к Николаю Павловичу относилась почтительно и голос России в делах международных имел большой вес. Военные трубы, хоть и совсем не громкие — в особенности в сравнении с трубами 1812 — 1815 годов — не умолкали. Миром с Персией и с Турцией в 1829 году очень хвалиться не приходилось. Но победа военная и дипломатическая национальному самолюбию всетаки льстила. Хоть Пушкин исходом турецкой

войны доволен не остался, но не учесть победы и военных подвигов он не мог. Очень он радовался подавлению польского восстания 1830 года и, вероятно, еще больше тому, что, несмотря на всю поднятую против России в западной печати травлю, никто не решился от угроз перейти к делу. Наконец, хоть и медленное, но начавшееся покорение Кавказских племен не могло не говорить патриотическому сердцу Пушкина, хотя, думая о Кавказе, он должен был себя чувствовать несколько неловко, так как — пусть мы и были на Кавказе носителями культуры, но всетаки под ударами этой культуры гибла свобода вольных народов.

Если мы учтем все эти исторические события, и внутренние, и внешние, которые на глазах Пушкина развернулись, то уравновешенность, спокойствие и примиренность его суждений о русских делах в его зрелые годы — нас не удивят. Вера в Россию в душе Пушкина была крепка; вера в царя также, и наконец и вера в умственные и душевные качества русского народа. Можно было быть недовольным многим, осуждать порядки и сердиться на царя, но это несколько не мешало ни миру ума, ни миру сердца, которое так любило Россию и желало ей мирного развития без отказа от старых основных традиций ее государственной жизни, но лишь с принорованием их к потребностям нового времени.

III

ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ ЖИЗНИ

Биография Пушкина всем известна. Нет нужды лишний раз ее пересказывать. О некоторых эпизодах этой жизни придется однако упомянуть для оттенения тех сторон характера поэта, которые, в свою очередь, остались не без влияния на его мирозерцание и на его творчество.

Первое, что можно сказать об этой жизни, это то, что она была жизнью счастливой. Конец был случайный и трагичный, но все, что этому концу предшествовало ничего в себе, ни трагичного, ни даже горестного, не заключало. Много было житейских неприятностей, и мелких, и крупных, но ни одна из них, ни горем, ни несчастьем назваться не может.

Родился Пушкин в семье, которая не знала, что такое нужда, не знала семейных раздоров и с родственниками своими и знакомыми была очагом культурным. Детство Пушкина протекло в подмосковной усадьбе, и в словах нежных и спокойных поэт вспоминал о нем. Не вполне понятными являются строки, которые министр иностранных дел писал генералу Инзову, когда отсылал Пушкина на юг под его начало в 1820 году: „о т я г ч е н н ы й (a b r e u v é) п е ч а л я м и в о в с е время своего детства, молодой Пушкин покинул родительский дом без сожаления. Его сердце, в котором не было н и к а к о й л ю б в и к с е м ь е, могло чувствовать только одну страсть — любовь к независимости“. Любовь к независимости была, действительно, отличительной чертой характера Пушкина, но чтобы она была воспитана в нем гонениями родителей, на то нет указаний ни в сочинениях Пушкина, ни в его переписке. Образцом любящего сына — в особенности в отношениях с отцом — Пушкин не был. Нежных слов о родителях не сохранилось. Пушкин в трудную минуту говорил, что родные о нем мало заботятся. Но жили они, друг другу не мешая. Во всяком случае сказать, что семья отравила поэту впечатления детства — нельзя, даже если предположить, что его поместили в Лицей, чтобы иметь его по-дальше.

Лицейская жизнь темных сторон не имела. Часть воспитательская была не без изъяна, но как учебное заведение Лицей был лучшее, что могла дать тогдашняя Россия. Круг товарищей был хорошо подобран. Связь с семьями не прерывалась. Свобода воспитанникам дана была большая. Шалостей и веселья было, пожалуй, слишком много. Культом муз Лицей мог гордиться. Когда после шестилетнего пребывания в Лицее (1811—1817) Пушкин его покинул — он выносил об этих годах своей жизни воспоминание безоблачное. Он узнал в Лицее, что такое дружба — верная, искренняя, ни разу в жизни ему не изменившая. Он узнал также всю прелесть союза во имя красоты, и на его личную долю выпало счастье в себе самом признать истинного ее служителя. Дружба с Музой началась в Лицее и с тех пор сознание, что он — поэт истинный и вдохновенный, никогда не покидало Пушкина. И это было великим счастьем: он не знал, что значит сомневаться в

своих силах. И память о пробуждении этих сил была связана с воспоминанием о Лицее.

В „свет“ Пушкин вступил в 1817 году при условиях очень благоприятных для того, чтобы ознакомиться со всеми его приманками. Принадлежность к хорошей семье, круг влиятельных знакомых, диплом лицеиста первого выпуска, литературный талант, который был замечен и оценен даже стариками, редкое остроумие — делали Пушкина везде желанным гостем. Целых три года вертелся он в вихре светской жизни, среди золотой молодежи, среди членов разных литературных кружков — где музам бывало очень весело, — среди театралов, актеров и актрис, и, конечно, в обществе разных граций. Изучал он науку страсти нежной и имел многих друзей, которые были достойны его дружбы; имена почти всех их стали потом знаменитыми. Салонный говор, звон стаканов, шум товарищеских бесед, театры и всякие увеселения росту таланта не мешали — он развивался с поразительной быстротой и силой. Скуки и пресыщения в эти годы Пушкин не ведал. С чужих слов иногда говорил о разочаровании, и пока еще не знал, в чем его горечь. Он был тогда восторженным поклонником свободы, громил утеснителей и тиранов, в вызывающем тоне отзывался о сильных мира сего, глумился над духовными лицами и на религиозные темы говорил и писал вольно и кощунственно. За эту страсть к вольному мыслию и за наводнение Петербурга нецензурными стихотворениями, Пушкин в 1820 году был удален из столицы в ссылку. Вспоминая эти годы Пушкин иногда каялся в грехах юности, но все-таки он взял тогда от жизни все, что мог взять молодой человек его дарования и темперамента. К этим годам относится и первая опасная болезнь, которую он перенес. Она была первой и последней в его жизни. Здоровье Пушкина было железное.

Ссылка на юг, которая падает на 1820-24 годы была довольно своеобразным наказанием. Карой она была в том смысле, что со столицей и ее развлечениями пришлось проститься... Сначала Екатеринослав заменил столицу, но через месяц Пушкин был уже на Кавказе, а затем в Крыму, потом в усадьбе Раевских, затем в Кишиневе и наконец в Одессе. Состоял он на службе, которую впрочем всей душой ненавидел. Генерал, под надзор которого он был отдан, питал не-

которую слабость к своему узнику и разрешал ему все. Сажал под арест, когда узник разбушуетя и устроит какой-нибудь дебош — иногда с побоищем — но ни в амурных делах, которых на юге у Пушкина было много, ни в иных способах рассеяния скуки, ни даже в свободолобивых речах его не стеснял. Счастливейшие минуты жизни провел Пушкин в Крыму, в семействе Раевских. „Все его дочери, писал он брату, прелесть. Суди был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение: горы сады, море“...

В Кишиневе жизнь была иная: в первый раз Пушкин узнал, что такое скука, что такое недовольство средой, когда чувствуешь как растут и крепнут духовные силы и потребности, а удовлетворять их нет возможности. Хандра налетала; от недавнего угара сердце туманилось смутным разочарованием. Закрадывалось в душу также и чувство обиды, но назвать свою ссылку — несправедливостью поэт пока не мог. Когда им овладевала хандра или сплин, он предавался довольно разгульным развлечениям. В спокойные минуты он расценивал свое положение очень примиренно и даже благодушно:

Оставляя шумный круг безумцев молодых
В изгнании моем я не жалел о них;
Вдохнув оставил я другие заблужденья.
Врагов моих предал проклятию забвенья
И сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд и жажду размышлений;
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить въ об'ятнях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.
Богини мира, вновь явились музы мне
И независимым досугам улыбнулись...
Но дружбы нет со мной...

В Одессе положение ухудшилось. Благодушного генерала Инзова заменил гр. Воронцов, который чиновников такого типа

как Пушкин, конечно, не мог жаловать. Избалованный Пушкин со своей стороны таких начальников, как Воронцов, тоже признавать не мог. Начались служебные неприятности, а может быть и личные. Пушкин и в мыслях не имел поладить с Воронцовым. Скука его заедала. Утром сидел он в казино, затем блуждал по городу, сидел в ресторанах; вечером в итальянской опере. И всетаки „припевом жизни“ оставалась скука. Воронцов его, и сердил, и оскорблял. „Англоман, который предпочитает первого английского шалопая всем известным и неизвестным своим соотечественникам... И не доверяет благородству чувств, потому что сам не имеет чувства благородства“ — говорил про своего начальника Пушкин; точил эпиграматические стрелы и рассылал их.

Обстоятельства высылки Пушкина из Одессы не раз'яснены с точностью. Мотивом было будто бы перехваченное письмо Пушкина, в котором он говорил, что берет уроки „афеизма“. Вероятно это был лишь предлог, к которому Воронцов придрался, чтобы избавиться от неприятного чиновника. Не раз'яснена и роль супруги Воронцова, которая к Пушкину благоволила, отношений с ним не порвала, и всю свою долгую жизнь хранила о нем память, полную добрых чувств и уважение, если не любви.

И эти четыре года, проведенные на юге, Пушкин мог помянуть добром. Тяжелого, унижительного, принижающего его талант в них ничего не было. Пушкин сам говорил, что его первая ссылка была наказанием мягким.

Вторая ссылка была тоже не тяжела, но более оскорбительна.

Из Одессы Пушкина перевели в село Михайловское и отдали под надзор родителя. Войти в положение сына родитель не с'умел, и между ними произошли дикие сцены. Пушкин писал Жуковскому отчаянные письма, прося спасти его от отца хоть Соловецким монастырем, и наконец обратился к псковскому губернатору с просьбой выхлопотать ему перевод в какую-нибудь крепость лишь бы только от родителя избавиться. Родитель наконец уехал, и Пушкин остался в деревне. Два года 1824-26 длилась эта летняя и зимняя идиллия, которой мы обязаны столькими художественными созданиями. Скука была временами большая, но по соседству жила семья,

в которой можно было отвести душу. Заезжали, правда на очень короткий срок, меньше суток, два лицейских товарища. Других гостей не было. Жизнь скрашивалась только творчеством, наездами к соседями и заботами о нем знаменитой няни. Настроение духа было неровное. Иногда Пушкин жаловался на заточение, называл свое положение незавидным, упрекал „гонителей“, иногда говорил, что чувствует себя хорошо и был спокоен.

Путешествие было любимой мечтой Пушкина с детских лет. Ему так хотелось повидать культурные страны... Он мечтал, что его спутником и проводником будет столь любимый им Чаадаев... Теперь, в деревенской обстановке эти мечты наводили на грустные и сердитые думы. Сознание нанесенной ему обиды его не покидало, и действительно, лишение свободы передвижения, которой он пользовался на юге, лишение хоть и ненавистной ему службы, лишение всех выгод культурной жизни его провинностями не оправдывалось. Власть в отношении его допустила несомненный произвол, тем более, что никакого срока ссылки не было поставлено. Она могла длиться годами и это Пушкина пугало.

Учитывая все отрицательные стороны этой ссылки, не надо забывать, что она дала Пушкину возможность заняться очень усиленно самообразованием, а пробелов в самообразовании за семь лет жизни в Петербурге и на юге накопилось много. И наконец Михайловское спасло Пушкина от гибели. Живи он в Петербурге, он 14-го декабря был бы на Сенатской площади — как он сам в этом признался.

Двумя годами уединения в условиях вполне терпимых можно было заплатить за спасение, за возможность греться после бури на солнце.

В 1826 году Николай Павлович вызвал Пушкина в Москву. Все вольнодумные прегрешения поэту простили, но их, конечно, не забыли, и над ним был учрежден тайный надзор. Пушкин кажется не знал об этом надзоре, но догадывался. За исключением одного случая, когда на почте его письмо к жене было перехвачено, тайный надзор ничем не давал себя чувствовать.

Права свободного гражданина были Пушкину возвращены и начался новый период жизни, который длился 5 лет до

1831 года, когда поэт женился и когда естественно весь образ жизни его должен был измениться.

Много было за эти годы мелких тревог и неприятностей, но еще больше минут довольства собой и окружающим. Неприятностью может назваться напр. высочайшая цензура, которая, с одной стороны как бы льстила Пушкину и ставила его вне досягаемости цензуры официальной, но с другой стороны, конечно, очень стесняла. Неприятностью была необходимость держать шефа жандармов в курсе своей жизни, хотя никаких отказов ни в чем, за исключением разрешения выехать за границу — Пушкин не получал. Неприятностью была травля журнальная, которая учащалась по мере того как слава поэта росла. Но в жизни большого писателя такая травля в расчет принимаема быть не может. Она естественное добавление к писательской работе. И к тому же Пушкин умел так удивительно метко отстреливаться.

Из ссылки Пушкин явился триумфатором: все о нем говорили, интерес к его личности и сочинениям был очень повышен. Литературные круги Москвы встретили его с необычайным почетом и чтение „Бориса Годунова“ — написанного в Михайловском и прочитанного в Москве в разных домах — было событием, о котором все говорили. Талант поэта стоял в зените своего развития. За период времени с 1826-1831 год были задуманы, созданы и закончены почти все крупные художественные произведения. В особенности интенсивна была работа осенью 1830 года, когда холера задержала Пушкина в его усадьбе Болдино. Поэт мог быть собой доволен, и был доволен. Бодрость духа была необычайная.

Жизнь со внешней стороны была суетливая. Пушкин часто бывал в Москве, в усадьбах, своих и знакомых, в 1829 году на короткий срок с'ездил на Кавказ, в армию Паскевича, чтобы рассеять то неприятное состояние духа, которое охватило его, когда его первое предложение Н. Н. Гончаровой не было принято. Душа была „уязвлена“, но не страдала.

Судьба вообще уберегла Пушкина от горя. Потерь в семье не было, отношение с родителями установилось не близкие, но ровные, с сестрой и ее мужем также. Брат Лев, „Лайон“, вел себя очень легкомысленно, огорчал брата своими вексе-

лями, но любил его, и Пушкин платил ему тем же. Измен дружбы Пушкин не знал. Все друзья, с которыми он вступал в жизнь, оставались ему верны до его смерти. Смерть Дельвига была единственным настоящим горем, и большой печалью была казнь пяти декабристов, среди которых у Пушкина впрочем близких друзей не было. На облегчение участи сосланных друзей Пушкин не терял надежды.

Веселье и любовь попрежнему были спутниками последних лет его холостой жизни.

Кончилась она в 1831 году. Началась жизнь семейная. Говоря о ней, должно помнить, что она дала Пушкину безмятежное пятилетнее счастье. С женой он был связан узами самой нежной и глубокой любви, несмотря на то, что ему было за тридцать, а ей семнадцать, когда он женился. Она была ему верной женой и при всей своей ревности Пушкин не мог сделать ей ни одного серьезного упрека. Она была матерью четырех детей, — и это не понизило ни его страсти, ни его поклонения ей. Разделять его духовных интересов она, конечно, не могла, но Пушкин и не требовал от нее этого, и был доволен тем, что находил в ней. Чувство его к ней было высшей радостью последних лет его жизни. Он не знал, что значит замена любви привычкой. Он не видал, как осыпается весенний цвет плодоносным летом и осенью. Было несколько мгновений колебания перед самой свадьбой, а затем начались медовые не месяцы, а годы. И сверх всего Наталия Николаевна, невестой и женой, была в его глазах и в глазах всех, кто знал ее — воплощением красоты в женском образе. На эту красоту Пушкин молился и, забывая о всякой педагогике (а 17—23 летней женщине, при наивности ее души, такая педагогика могла быть не лишней), пел ей громкие гимны. Каких только восторженных слов не говорил он ей! Его письма полны признаний и восторгов. Она „призвана блеснуть и веселиться“; „красоту ее отметил сам государь“; она „ангел прелести и Мадонна“; „слава ее красоты распространилась по всем уездам“; она „хорошеет, но это уже лишнее“; „надо быть ее мужем, чтобы ухаживать за другими в ее присутствии“; „после минутного ее появления, о ней гремит молва“, художник, увидав ее „не может не захотеть срисовать ее“. „Царствовать она должна, потому что она прекрасна“...

Куплено было семейное счастье ценой относительно дешевой. Больших неприятностей при сватовстве не было. Первое предложение не было принято, второе приняли. Сплетень, как всегда, было много: жениха стали выставлять невесте в дурном свете, как человека безнравственного, безбожного и вольтерьянца. Но внимание, оказанное Пушкину царем и его слава говорили в его пользу. Денежные дела семьи невесты были расстроены — выплата приданого тянулась; приходилось писать нежные письма какому-то дедушке, весьма сомнительной нравственности, которого при других обстоятельствах Пушкин охотно пристрелил бы эпиграммой. С тещей, богомольной дурой, бывали неприятные сцены — свадьбу она затягивала и всегда думала, что товар продешевила; зятя неизменно бранила; он целовал ей ручки, пока было нужно, а потом старался не попадаться ей на глаза.

Но в конце концов все обошлось и Пушкин поспешил увезти жену из Москвы в Петербург. В Москве у него вообще добрых отношений было гораздо меньше, чем в Петербурге.

Прославленный всеми поэт, и как личность всеми замеченный; мелкий чиновник в министерстве иностранных дел (куда он был взят на службу после свадьбы), которого царь пожелал к себе приблизить и в этом отношении прямой преемник Державина, Карамзина и Жуковского; счастливый супруг первой в России красавицы, — зажил Пушкин в Петербурге семейным домом. Прожить ему было суждено еще пять лет (1831—1837).

Новых впечатлений за этот период жизни было немного. Бывал он несколько раз в Москве, но тяготился ею, два раза в Болдине, наезжал в Михайловское, на очень короткий срок съездил в Оренбург для ознакомления с той местностью, где разыгрался Пугачевский бунт, над историей которого Пушкин тогда работал; но всего больше любил он сидеть в своем кабинете, насколько это позволяли светские отношения, к которым Наталия Николаевна имела большое пристрастие.

Литературная работа продолжалась с прежней интенсивностью, но только характер ее изменился. Родник лирического вдохновения начал иссякать; но планов для художественных созданий было много — в том числе большой бытовой роман, и много недоделанного в стихах и в прозе. Больше

всего брала времени журнальная работа и подготовка и выполнение двух исторических трудов — истории Петра и Пугачева. Слава Пушкина переступила за границы родины и на Западе имя его становилось известно. Это была большая победа для русского писателя тех времен.

Служба в министерстве не тяготила, хотя, конечно, никакого удовлетворения не давала. Сближение с Двором было лестно и успех жены в свете и во дворце был Пушкину приятен. Возведение в звание камер-юнкера было крупной неприятностью. Ролью свободного певца, которого царь к себе приблизил, можно было гордиться, но в мундире камер-юнкера, в его возрасте, Пушкин рисковал стать смешным. Царь, впрочем, отнюдь не желал его обидеть, хотел даже его жене сделать приятное; может быть даже, по его понятиям, и ободрить певца, накладывая вместе с тем на него новые узы. Пушкин, после многих месяцев дурного настроения, с камер-юнкерством нехотя помирился.

Но со светской жизнью он никогда не мирился, угадывая в ней своего смертельного врага.

Она отнимала у него много времени, мешала его работе, и разоряла его. Пренебрегать внешними удобствами жизни в его положении и при его равнодушии к успехам жены, было нельзя. В первый год семейной жизни штат дома, кажется, доходил до десяти человек. Денег, кроме литературного заработка и ничтожного жалованья, не было. Отец передал ему имение разоренное и продолжал разоряться. Одно время Пушкин жил под угрозой, что ему придется взять на свое попечение всю свою семью. У жены денег также не было. Концы с концами свести было невозможно, приходилось должать; просить займы на стороне, пытаться счастье в игре, всегда почти неудачной, брать займы под жалованье и разными способами изворачиваться.

Как ни сердила и не мучила Пушкина эта сторона жизни, но в конце концов и с этим врагом спокойствия можно было как-нибудь покончить. Царь неоднократно приходил Пушкину на помощь и мог улучшить его служебное положение; большие надежды были на журнал, который Пушкин стал издавать с 1836 года; да, наконец, мало ли какая могла произойти перемена, хотя бы новая выгодная продажа сочинений.

Но был один враг, которого побороть не удалось. Это был так называемый „свет“, который с Пушкиным-поэтом мало или совсем не считался, а с Пушкиным, членом своего круга — вел непрерывную глухую борьбу. Пушкин терпеливо выдерживал эту борьбу несколько лет, таил в себе раздражение, злился на Петербург, „радовался его гадости“ и топтался в этом „гнилом болоте“ (*vilain lac*) „между пасквилями и доносами“. Психологию этого „света“, „не меняющего своих жестоких осуждений, требующего для своих заблуждений тайн, тщеславная любовь и лицемерные гонения которого достойны равного презрения“, — Пушкин знал хорошо. Пошлые ничтожные типы, имеющие в нем вес и почет, были ему хорошо знакомы — все эти „карикатуры на людей, для власти нужных“.

Он молил свое вдохновение:

Не дать остыть душе поэта
Ожесточиться, очерствѣть
И, наконец, окаменеть
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,
Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных, и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных
Среди вседневных модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров,
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов, дум и разговоров...

Эти и подобные им строки крепко засели в памяти света и раздражение накапливалось. Пушкин продолжал говорить свои комплименты, сыпал эпиграмами (взять хотя-бы „Родословную моего героя“), которые, конечно, в портфеле не оставались, пускал в оборот стихотворения такой злобной силы, что пострадавшие не могли ни простить, ни забыть их.

Поэт мог-бы, скажут, с презрением отнестись и к сплетням, и к доносам. Но, как он верно заметил, нетрудно презирать отдельно каждого глупца и срамца, но всех вместе презирать их трудно.

Причин недоброжелательства к Пушкину светского круга было много.

Независимая личность, всегда смелая и откровенная в своих взглядах, в проявлении своих чувств и в поведении со всеми, не взирая на чин и звание.

Недавний вольнодумец, либерал и чуть-ли не бунтарь, приближенный к престолу, с'умевший и царю внушить к себе уважение, несмотря на полное отсутствие каких-либо служебных заслуг.

Помещик мелкопоместный, человек без средств и исключительно гордый в сознании своего дворянского достоинства.

Дворянин захудалый, не упускающий случая говорить и писать о том, что новое, не родовитое дворянство занимает в государстве положение не по праву; беспощадный остряк, который глумился над всеми гербами, если они не старше ста лет.

Прославленный на всю Россию человек, который своей громкой славой обязан только „сочинительству“, т. е., по мнению весьма многих, занятию мало полезному.

Наконец муж красавицы, которая хоть умом и не блистала, но заслоняла собой всех соперниц.

Сколько про эту красавицу и ее мужа ходило сплетен и как велико было желание досадить им обоим!.. Но досадить Пушкину было очень трудно. По службе навредить ему было нельзя, так как служба была самая невидная. Навредить ему в его положении как писателя — было невозможно; очернить его в глазах царя было также трудом напрасным, так как царь ему верил и кроме того знал о каждом его шаге непосредственно от шефа жандармов... Поставить Пушкина в какое-нибудь смешное или глупое положение было немыслимо в виду его ума, такта и остроумия.

Оставалось направить удар на его жену, которая хоть и была всегда верна мужу, но любила чтобы ею восхищались и за ней ухаживали. И Пушкину был анонимно прислан диплом на звание члена ордена рогоносцев, и диплом был разослан по городу. Кто был тот или те, кто это грязное дело сделали, оставалось невыясненным, и власть, как это ни странно, не разыскала виновных. Но если начать догадываться и предполагать — то великосветское происхождение диплома наи-

более вероятно. Еще за год до получения пасквиля Пушкин писал одной своей приятельнице: „моя бедная Натали стала мишенью ненависти света“.

Пушкин мог, конечно, оставить и эту пакость без внимания: он нашел бы способ своим поведением и своим остроумием свести на нет эту клевету. Но она фатально совпала с другим обстоятельством. Как раз в это время Дантес стал усиленно ухаживать за Наталией Николаевной. Ее сердце осталось спокойно, но сердце Пушкина самообладание потеряло. Вся выдержка, которую он обнаруживал в своих сношениях со светом в продолжении пяти лет — исчезла сразу. Им овладел пароксизм бешенства, ревности, и жажды мести. Заговорила кровь предков и, хоть Дантес и поспешил жениться на сестре Наталии Николаевны, Пушкин поставил его к барьеру...

Если забыть о последних месяцах этой жизни — назовем ли мы ее трудной и печальной? Конечно нет. И ясность, и спокойствие, и гармоничная пластичность творчества свидетельствует о том, что ни людьми, ни жизнью поэт не был оскорблен, ни обижен, хотя бывал, как все люди, и обижаем и оскорбляем. Как художник он был баловнем судьбы. Никогда ни одно житейское положение, в какое он попадал, не посягало на самое ценное его достояние — на его дарование поэта. И печали, и в особенности радости, которых было несравненно больше, чем печалей, шли его таланту на пользу. Ничто этого таланта не угнетало, ничто не искажало его естественного роста. Обстоятельства могли заставлять Пушкина молчать, но духа его никогда не принижали и не угашали.

Быть может, кто-нибудь скажет, а если бы были большие несчастья, суровые испытания, великие печали, глубокое горе, длительные, разрушающие терзания ума и сердца — сколь многое открылось бы дарованию поэта. Трагическое в жизни обнаружило бы себя в его творчестве с той же художественной силой, с какой открылась в нем лирика гармоничной души поэта и эпическое спокойствие его созерцания.

Но что можем мы знать о том, что было бы, если бы...

Такие догадки к тому же напоминают известное изречение о соловьях, которые поют будто-бы лучше, если им выколоть глаза.

Можно вполне наслаждаться их пением, не желая им такой операции.

IV

ТЕМПЕРАМЕНТ И ОСНОВНАЯ ЧЕРТА ХАРАКТЕРА

Поэзия Пушкина не заслоняет собой его личности. Для своего времени эта личность очень типичная и на современников во многом не похожая. Откровенность, прямодушие, смелость, сознание своего достоинства и силы, и страстность в проявлении многих чувств были ее отличительными чертами. К этим чертам надо добавить еще большое добродушие. „Я, ей богу добрый человек“, говорил Пушкин, и однажды, перепутав два альбома, свой собственный и альбом Онегина, он заставил какую-то даму сказать Онегину, что он совсем не опасен, а просто очень добр. И жене, в минуту откровенности, Пушкин говорил, что во многом виновато его добродушие, что он им „преисполнен до глупости“, несмотря на опыт жизни. Этой черты характера за ним не отрицал никто из знавших его лично и вспоминавших о нем.

Но добродушие не исключало ни страстности, ни временами большой резкости. Пушкин унаследовал эти склонности от предков. Предки со стороны отца были люди темпераментные, своевольные, с большим норовом. Они заставили говорить о себе еще в Смутное Время. При Петре один из них был уличен в заговоре и казнен. Прадед, в припадке сумасшествия зарезал свою жену, находившуюся в родах... Дед за верность Петру III-му был посажен в крепость. Человек пылкий и жестокий, он первую жену уморил в домашней тюрьме, подозревая ее в неверности, а мнимого любовника, француза-учителя, весьма „феодално“ повесил на черном дворе. И со второй женой он позволял себе разные чудачества. Со стороны матери прадед Пушкина был известный негр, приятель Петра I-го; принимал он участие в испанской войне, затем в

России, после смерти Петра, вел жизнь очень беспокойную. Один из его сыновей сражался под Чесмою, взял Наварин, выстроил Херсон и сумел заставить уважать себя таких лиц, как Екатерина II и Суворов. Про деда своего Пушкин говорил, что африканский характер его, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием вовлекли его в удивительные заблуждения. Умер он от следствий невоздержной жизни.

Всех дедовских черт Пушкин к счастью не унаследовал, но некоторые из них сказались — на его вспыльчивости и ревности. К наследству предков Пушкин от себя добавил страстную любовь к независимости и свободе, для русских людей того времени любовь необычную, если ее понимать в смысле идейном и благородном, а не в смысле своеволия.

Холостая жизнь Пушкина, и на воле, и в ссылке не могла, конечно, назваться хорошей школой в деле воспитания характера. Женитьба до известной степени успокоила Пушкина, но от резких проявлений темперамента не излечила. И боялся же он этой семейной жизни! „Законная жена — род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит“. „Брак холодит душу“, говорил он еще не находясь в опасности (1826). Когда же тень этой опасности в том же году появилась, он писал что „при его бурной жизни, при характере неровном, ревнивом, вспыльчивом, резком (violent) и слабым одновременно, — он счастья дать не может“. Когда он был безумно влюблен в свою невесту, он и то говорил, что женится без упоения, без ребяческого очарования. Он жалел о холостой жизни и ему подчас бывало весело „удрать“ от невесты. Будучи любящим и образцовым мужем, он не прочь был женатым вспомнить о своей молодости в салонах, где ухаживал за дамами, в клубах за зеленым столом и в веселой компании. Всеми такими свободами жизни Пушкин дорожил и если они и вредили ему, он своей любви к ним не утаивал; откровенно им отдавался и насильственно их в себе не подавлял. Моралисты могли бы, конечно, многое возразить против таких привычек, но зачем осуждать их, если от них несколько не страдал ни нравственный облик поэта, ни его гений, который быть может от всех таких нервных под'емов только выгадывал.

Как в юные годы, на заседаниях и собраниях разных веселых братств вроде „Арзамаса“ (1815—1818) или „Зеленой

Лампы“ (1819), так и в зрелые годы хотелось отдаться веселью, забывая обо всем. Азартная игра вносила в это веселье особую остроту и можно было, и зрелым, и женатым, просиживать до утра в компании, которая так живо описана в „Пиковой Даме“. Игра шла, и в Петербурге, и в особенности в Москве, где Пушкин имел закадычного друга Нащокина, про которого он говорил, что только с ним он обменивается умными и дружескими словами. При всем своем уме и талантливости Нащокин был образцом беспутного человека, — своеобразного поклонника свободы — правда, без каких-либо злых пороков. В доме его, где Пушкин останавливался, была постоянная безтолочь, ералаш, от которого голова шла кругом. С утра до вечера толпились разные народы, игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыгане, шпионы и особенно заимодавцы. Вход был для всех вольный; кто кричал, курил трубку, обедал, пел или плясал. Пушкин жаловался жене, что все это его бесит и что от цыганского вечера у него голова разболелась, но компании этой он не чуждался.

Откровенен был Пушкин и в своем пристрастии к дуэлям. Назвать дуэль веселой стороной жизни никак нельзя, так как и при счастливом ее исходе в душе должен остаться неприятный осадок. Дуэль приятна только тогда, когда наверное знаешь, что дело кончится бутылкой шампанского. Такие дуэли бывают и в наши дни, но Пушкин расценивал дуэль иначе. Он думал, что для людей его круга из некоторых положений нет иного выхода кроме дуэли. Бреттером Пушкин никогда не был и, хоть он и называл, вероятно в шутку, знаменитого тогда дуэлиста Якубовича „героем своего воображения“, он не смотрел на дуэль как на способ разнообразить впечатления скучной жизни. Уклониться от дуэли он считал недопустимым. „Посудите сами, писал он в „Египетских Ночах“, первый шалун, которого я презираю, скажет обо мне слово, которое не может мне повредить никоим образом, и я подставляю лоб под его пулю. Я не имею права отказать в этом удовольствии первому забияке, которому вздумается испытать мое хладнокровие“. Понимая всю нелепость дуэли — как видно из этих слов — Пушкин от этой нелепости не мог отречься. Какую справедливую нотацию прочитал он про себя Онегину! В осьмнадцать лет, рассуждал он, простительно дурачиться, но

ему — Онегину — быть мячиком предрассуждений? Он должен был бы оказать себя мужем с честью и умом, а не щетиниться как зверь! Но что делать? — общественное мнение наш кумир и пружина нашей чести! И Пушкин не удержал Онегина от дуэли. И себя самого он не удерживал. В Кишиневе у него было несколько дуэлей, одна была кажется в 1828 году; почти накануне рокового для него дня он собирался поставить к барьеру одного из своих знакомых и напрашивался еще на какой-то вызов и все по пустякам.

Поэт любил вводить дуэль как драматическое положение в повести и поэмы, как он это сделал в „Выстреле“, „Капитанской Дочке“, „Евгении Онегине“, „Кавказском Пленнике“.

К этой форме проявления храбрости и силы личности Пушкин питал, как видим, особое пристрастие и, действительно, при всей глупости дуэли отнять у нее известной романтической красоты нельзя, в особенности если считаться со вкусами того времени. Можно, конечно, найти иные способы самоопределения личности, но это уже вопрос темпераментов.

Последнюю дуэль Пушкина нельзя приводить в связь с другими его дуэлями, которые были или набегали. Кончить так, как кончил Пушкин, мог любой человек, никогда на дуэли не дравшийся. Пушкиным овладел пароксизм оскорбленного самолюбия, ревности и злобы, по разрушительной своей силе единственный в его жизни. Вскипать Пушкину случалось. Иногда, правда очень редко, эти вспышки доводили его до рукоприкладства и потасовки с людьми и ему равными, и ему подвластным, но самообладание покидало его всегда лишь на мгновение. Перед последней дуэлью оно покинуло его на несколько месяцев. Удивляться этому не приходится: оскорбление, нанесенное ему и его жене, вызвало в нем стихийное бешенство. Как показывают опубликованные документы, он твердо решил отвергнуть все попытки примирения и уверенный в виновности человека, который на самом деле не был виновен в той степени, как это Пушкину казалось, — он решил, что на земле им двоим нет места. Он желал смерти противнику и с возможностью своей смерти примирился.

Любовь к жене, ревность, удары разных ослиных копыт, грубое публичное оскорбление и притом анонимное, ряд всяких мелочей житейских, которых теперь не учтешь — затуманили

совсем разсудок Пушкина и в нем заговорила только одна ярость. С той минуты как окружающим стало ясно, что он о с к о р б л е н анонимными письмами — виновника оскорбления надо было найти, дажи измыслить, и дуэль на жизнь и смерть становилась неизбежна. Действительно, представить себе Пушкина, в его положении обменявшегося безрезультатными выстрелами или излечившегося от раны — нельзя. Вот почему он ни на какое соглашение не пошел и предоставил судьбе последнее слово в этом деле. Для личности Пушкина последняя дуэль мало характерна, как следствие совершенно исключительного психологического состояния, не имеющего никаких аналогий в прошлом его жизни. Но как трагичный символ, эта дуэль знаменательна. Личность поэта была такая сильная, смелая, независимая, откровенная, непривычная к уступкам и компромиссам, уважающая себя и требующая уважения, личность столь возвышавшаяся над другими, что уход ее из мира не должен был походить на обычное разрешение. Ничего героического в смерти на дуэли, конечно, нет, но символика смерти Пушкина не в дуэли, а в самой неожиданности и быстроте исчезновения духовной силы, которая теснее чем какая-либо иная была с жизнью связана. Вспоминаешь старое учение о зависти богов, старое изречение о том, что молодым умирает тот, кого боги любят, вспоминаешь и слова поэта „таков удел прекрасного на свете“. О самой дуэли забываешь...

Если искать отличительной черты в характере Пушкина — господствующей способности, как иногда принято выражаться — то таковой надо признать чувство достоинства свободной, смелой, знающей себе цену личности. Не было положения в жизни Пушкина когда бы он не проявлял этой склонности поступать, говорить и писать, как требовали его разум и чувство. Смелость, правдивость и искренность, и нигде ни тени расчета, уступок, дипломатии или хитрости. В делах житейских и материальных большая наивность; в проявлении мыслей и чувств нередко неосторожность, но зато всегда и везде сознание того, что ни в какой кривизне ума и души себя упрекнуть не можешь. Много рыцарского было в такой откровенности и непосредственности человека, художника и гражданина. Оценить эти достоинства ума и сердца могли и читатели, и знакомые, и в

особенности друга. Не нравились эти качества тем, кто вообще не любил людей самостоятельных.

Друзей у Пушкина — как всегда у человека такого закала — было немного, но никогда ни с одним из них не было недоразумений и размолвки. По его письмам можно научиться ценить дружбу и понять, что такое дружба истинная, святая, чуждая расчетам, уравнивающая людей, свободная от сентиментальности, от трафарета, привычки, говорящая всегда языком откровенной любви, дружба, как свободный союз умов. Избранные для такой дружбы были редки. Гораздо больше было таких, которым Пушкин — блюститель ее алтаря — мог сказать, если ты в твоих отношениях с другом —

Святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Если ты затейливо язвил
Пугливое его воображение
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданиях, униженье;
Если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Если цепь ему накиннул ты
И сонного врагу предал со смехом;
И он прочел в немой душе твоей
Все тайное своим печальным взором:
Тогда ступай, не трать пустых речей, —
Ты осужден последним приговором.

Пушкин был так щепетилен в требовании от людей благородства, что сказал однажды „старайтесь сохранить и в самой подлости оттенок благородства“, и даже повторил это изречение в одном частном письме.

Сознание своего достоинства, как независимой, смелой, правдивой и свободной личности было не только большим нравственным преимуществом Пушкина среди лиц, с которыми жить приходилось, но и большой его заслугой перед родиной, заслугой и писателя, и гражданина. В те годы такая личность была величайшей редкостью, и понятно, почему Пушкин любил вспоминать о Долгоруком, который решался перечить Петру. Печать смелого суждения лежала на всем, что Пушкин писал как художник и публицист. Если менялись взгляды — а „одни только глупцы, говорил он, взглядов своих не меняют“, — то

неизменна была их искренность. Кто из людей в его времени мог с ним в этой искренности поспорить? Кого поставим мы рядом с ним, если захотим указать на свободную личность в годы ее систематического подавления? Мужественный и открытый в симпатиях и антипатиях, как в отношении людей, так и их взглядов, Пушкин часто попадал в трудное положение, но никогда из такого положения он не выходил, жертвуя своими убеждениями или маскируя их. „Мы в литературе и в общественном быту слишком чопорны и дамоподобны“, сказал Пушкин однажды — т. е. мы боимся открыто сказать, что мы думаем или, как дамы, рисуемся и кокетничаем своими суждениями и вкусами. Себя упрекнуть в этих качествах он не имел случая. Все его выступления, как художника и публициста, были заявлениями писателя не связанного ни с кем и ни с чем, кроме сознания своего писательского долга. Властям эта черта характера казалась очень опасной и великий князь Константин Павлович выражал не свое только личное мнение, когда говорил, что Пушкин не такой человек, на которого можно было бы хоть в чем-нибудь положиться (1828). Но было и тогда уже в России много лиц, которые держались иного взгляда, и в век чинов, рангов, протекции и всяческих привилегий ценили высоко независимую личность поэта. Силою своего таланта и своей душевной и умственной прямою заставляла она всех с собой считаться, от царя, который знал ей цену, до совсем темных людей, Пушкину незнакомых, которые писали ему восторженные письма.

Много так и восторженных слов приходилось читать Пушкину о себе, и в печати, и в частных письмах. Голова могла закружиться, но он сохранял полное самообладание. Себя он уважал и ценил, но избег соблазна гордыни и самомнения. А не возгордиться было трудно, когда приходилось читать ниже следующее:

1816 „Мы от тебя многого ожидаем“ (В. Пушкин).

1821 „Кто не узнает того поэта, который в такие лета, когда другие еще учатся правилам стихотворства, стал уже на ряду с нашими первоклассными писателями“ („Сын Отечества“).

1822 „Думаем, что приятно сохранить юные черты поэта, которого первые произведения ознаменовались даром необыкновенным“ (при портрете в издании „Кавказского Пленника“).

1823 „Ты создан попасть в боги — вперед“ (Жуковский).

1824 „Козлов только твердит о тебе и о Байроне. Влияние твое огромно“ (Дельвиг). „Ты имеешь не дарование, а гений“; „Ты рожден быть великим поэтом“ (Жуковский).

1825 „Ты должен быть поэтом России“ (Жуковский). „Имя твое народная собственность“ (Вяземский). „На тебя устремлены глаза России“ (Рылеев). „Ты, в ком поселился гений“ (Баратынский).

1826 „Ты рожден быть великим поэтом и мог бы быть честью и „драгоценностью России“. „Молчание твоей лиры — упрек Александру I“ (Жуковский). „Москва короновала императора, теперь коронует поэта“ (В. Измайлов). (К тому же году относится письмо кн. Зинаиды Волконской — сплошной гимн и дифирамб гению Пушкина).

1828 „Ты гений, не находящий своей миссии“ (Чаадаев).

1830 „Бури вашей юности, озарившие молниеносным блеском нашу словесность“ (Розберг).

1831 „Вы для нас один и единственный“ (Плетнев). „Ты наш Дант“ (Чаадаев).

1832 „Ты постиг тайнства русского духа“ (Гнедич).

1834 „Для вас все возможно, все легко (dévoué)“ (Сенковский).

1836 „Вы со своим исполинским талантом“ (Гречь).

На все эти восхваления, ни в словах, ни в поступках Пушкина не было намека, и только, как бы предчувствуя близкую смерть, он сказал в августе 1836 года:

Славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

V

ВЕСЕЛАЯ МОЛОДОСТЬ И ПРОЩАНИЕ С НЕЙ

Если был среди наших поэтов певец молодости, певец жизни, так это был Пушкин.

В степи мирской, печальной и безбрежной, говорил он, таинственно пробилась три ключа: ключ юности, который бежит

и кипит, журча и сверкая, ключ вдохновенья, утоляющий жажду изгнанников и холодный ключ забвения (1827). Молодость, вдохновение и смерть. Все остальное как бы не существует. Жизнь казалась Пушкину не особенно тяжелым бременем. Бывает, конечно, подчас тяжело, но телега жизни на ходу всетаки легка. С утра мы в нее садимся и кричим ямщику — „валяй по всем, по трем“; в полдень мы кричим „полегче“, а под вечер в ней дремлем, пока не докатимся до ночлега (1823). До вечера жизни Пушкин не дожил и мы не знаем, задремал ли бы он, но оклик „валяй по всем, по трем“ был в молодости его любимым окликом. Веселая это была молодость, даже в дни гонений.

Наши лирики первых десятилетий XIX века, весна которых совпала с весной нашей изящной словесности, любили безумное веселье вопреки тогдашней литературной моде, которая требовала, чтобы певцы были меланхоличны и грустны. Никогда потом веселье и жизнерадостность не звучали так громко в их песнях, как в те времена. И меланхолия тех годов, она почти всегда была грустью о том, что веселая молодость блекнет и улетает. Философы без малого в 18 лет, они, воспевая поблекший цвет жизни, цеплялись за все ее радости и каждый год казался им великой утратой. Пушкин был запевалой в этом хоре певцов юности и веселья.

Ни жизнь, ни люди, не печалили, не оскорбляли и не мучили его в преддверии юности. Детство, проведенное в Захарове среди старых кленов, под шум тополей, у ручья, с играми на заре, при полном достатке, среди шумной толпы соседей и даже — если верить поэту, с бокалом вина на столе — оставило в Пушкине о себе мирную и поэтичную память (1815). Даже любовь и та в эту детскую идиллию закралась. ...Подруга возраста золотого, образ милый... Тьма полуночи, темная аллея вечером и стан не покрытый шалью, и на щеках стыдливый цвет... Целая романтическая поэма, конечно, прикрашенная, но, по словам исследователей, таящая в себе как будто и зерно истины (1815).

Лицейская ранняя весна сменила эти зори детства. О Лицее вспоминал поэт, когда в минуту недовольства собой, пресыщенный весельем светской жизни, он благославлял видения первоначальных чистых дней (1819). Жизнь текла в Лицее шумно и весело. Науки совсем не тяготили, не тяго-

тило и мало почтительное к ним отношение. Культ дружбы, любви и вдохновения был установлен в храме науки. Вакх милостиво благословлял эти первые впечатления бытия, и на всю жизнь Пушкин с Вакхом остался дружен. Среди преподавателей Лицея были также поклонники веселого бога и вспоминали они его с воспитанниками не только за чтением классиков. Пушкин преувеличивал, конечно, когда описывал эти внеклассные беседы и рассказывал, как Кант, Сенека и Тацит вместе с разными фолиантами „ученых дураков“ летели под стол и как в конце концов и комната, и все, кто сидел в ней, удвоились и шли кругом (1814). Но, что звук полных чаш, при котором и смерть не страшна, заглушал для молодых повес все звуки жизни, кроме любовных гимнов и изредка бряцания шпор и сабель — это вполне возможно. Пушкин, который тогда читал Шиллера, из всех его стихов счел заслуживающей перевода одну лишь пуншевую песню.

Молоды все были, и беззаботны, обеспечены и уверены в грядущих днях. Им „жизни дни златые не страшно было расточать“ (1815). От всех, пока понятных им печалей, целебное средство было найдено. Вакх исцелял тех, кто был обижен Кипридой, и рецепт возлияний был так прост; душа становилась чиста и ясна, как прозрачный сок, и можно было лежать спокойно под липой, как с фиалом в руках, украсив рога венком, лежал некогда козлоногий философ, когда в любви был обманут. От неудачной любви — хорошее убежище погреб, твердила веселая компания (1815). Но и при счастливой любви такое помещение было не лишнее. В нем хранился и кладезь мудрости; недаром, когда мудрецы искали пропавшую истину, они нашли ее на дне чаши; недаром посылались проклятия тому дерзновенному, который, ослепленный буйным несчастьем, мешал с вином воду; недаром, когда надо было произнести тост на пиру, поэт провозглашал его не за военную славу, даже не за здравие Феба, даже не за юную любовь, а за вино. Давайте пить и веселиться; будем играть жизнью, пусть наша ветренная младость потонет в неге и в вине (1817)! Все — призрак, суета, все — дрянь и гадость... Стакан и красота — вот жизни сладость (1817). Даже смертный миг будет светел, и пепел наш будет сложен в праздные урны пиров (1817).

Наша литература, и при Пушкине, и после него, как и в наши дни, всегда любила возлияния, но с годами она становилась как-то стыдлива, и художник уже очень откровенных признаний остерегался. Пушкин, при его прямоте, с читателем не стеснялся. Он и в зрелые годы своей любви к Вакху не утаивал, а в молодые его хвалился...

Один из любимых поэтов Пушкина был Анакреон. „Он был моим учителем, и тем же путем, как он, сойду я на грустный берег Ахерона“ — говорил Пушкин и даже набросал анакреонтический церемониал своего погребения (1815). Такое увлечение Анакреоном обязывало, именно Пушкина. Надлежало не только следовать учению Анакреона, но и вступить с ним в соревнование. Пушкин превозмог эту трудность и среди его анакреонтических стихотворений есть настоящие перлы поэзии. Торжество Вакха; гимн бойцов, бегущих на мирный бой... тигры, эроты, фавны и сатиры; процессия Силена, бег вакханок, их пляска и песни, вдохновенные движения, стыдливость милого смятения, восторг и дерзость наслаждений, — живая движущаяся художественная картина (1817). Гроб Анакреона; лира и горлица, в розах кубок и венец. Седой и старый мудрец сладострастия, он исчез как само наслаждение, как веселый сон любви, оставив нам свои заповеди (1815). Его фиал — он стоит у Венеры в ее спальне. Печальный Амур уронил в него свой лук, колчан и стрелы, и факел любви погас в волнах багряных. Не доставайте со дна фиала, ни колчана, ни стрел! (1816). Этому мудрому совету Пушкин не следовал. Стрелы любви, омытые вином, он всегда извлекал из фиала. Любви своей к Анакреону Пушкин не изменял во всю свою жизнь и еще в 1835 году переводил его оды и писал им подражания. И остался этот античный мотив навсегда украшением нашей лирики, как и та вакхическая песня, исключительная в своем торжественном весельи, которую Пушкин сочинил в уединении, в Михайловском, вспоминая прошлое:

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!

Полнее стаканы наливайте!
На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Подыдем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма! (1825).

Лицейские годы кончились, и веселье продолжалось за его стенами. Жизнь была рассеянная, и много сил телесных было на нее потрачено. Духовные силы, если и тратились, то не даром. Культ дружбы и любви и служение музам расцветались новым увлечением — пристрастием к театру. Поэт, как полагалось, бывал влюблен в актрис; знаменитая Семенова была предметом его поклонения; ее соперница „бездушная“ m-lle Жорж — мишенью строгой критики.

Пушкин писал театральные рецензии („сумасбродные“, как выражался Гнедич); писал памфлеты на заседателей в партере, боготворил сень кулис, драматических и балетных — одним словом вел себя так, как друг его Онегин, но только не скучал и не зевал. Любовь к театру сохранил Пушкин на юге, в Одессе, где он увлекался итальянской оперой. Он любил музыку и в особенности музыку Моцарта и России.

Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь — мелодия...

Как театрал Пушкин, конечно, не мог избежать соблазна стать драматургом. Еще в детстве сочинил он какую-то комедию; теперь он набрасывал сценарии, но из них ничего не вышло. Гением драматурга Пушкин обладал, но все, что им было написано в драматической форме, от „Бориса“ до „Русалки“ для сцены было мало пригодно. С годами страсть к театру улеглась. В своих критических статьях, интересуясь драматургией, Пушкин о сцене не упоминал вовсе. Но в дни

веселой молодости храм Терпсихоры и Мельпомены был у него в большом почете.

Таланту веселье помехой не было и в годы наибольшего веселья Пушкин одержал свою первую большую литературную победу. Жуковский, его учитель, „природою на песни обреченный“, к возвышенной душе которого „летела молненной струей“ душа Пушкина, признал себя побежденным, прочитав „Руслана“ (1817—1820).

Поэма была песнью не только во славу Руслана, но и во славу веселой молодости ее автора. Этот „метеор“, как назвал „Руслана“ Сперанский, был в год его появления сразу замечен всеми — так необычен и ярок был его блеск внешний.

Сказка, которую Пушкин слышал в детстве и которую теперь с таким мастерством пересказал, прославляла русского богатыря со всеми его русскими добродетелями — храбростью, верной любовью, строгим сознанием долга, откровенностью, прямодушием, отсутствием хитрости и коварства. Богатырь везде и всегда являлся врагом насилия. Как истинный рыцарь во имя своей дамы, он был мстителем за всякую неправду. Он был весел на пиру, счастлив в любви, бесстрашен в борьбе; он знал страдания и лишения; был жертвой темных сил. Но темные силы были сокрушены, подвиг был совершен и его ждала награда любви и благодарность родины. Все тучи рассеялись и одна лишь светлая радость сияла герою. Веселье было всеобщее и даже карла Черномор, был принят во дворец, очевидно на хороших условиях. „С надеждой, верою веселой, иди на все, не унывай! Вперед!“ говорил Финн Руслану, как сама жизнь говорила тогда Пушкину.

Доверие поэта к жизни отразилось в его поэме, как отразилось и остроумие молодого повесы с его шутками, комическими сценами, гротеском и вольными нескромностями воображения, которыми чопорные читатели того времени были скандализированы.

И вот в этом молодом веселье, в годы самого его разгара, стала слышаться тоскливая искренняя нота грусти об „увядающей юности“. Чем нам и жить под старость нашей молодости, как не воспоминаниями? — говорил Пушкин в 1821 году. Он так любил эту молодость, что каждый год, отдалявший его от нее пугал его и искренне печалил. Когда

с Кавказа Пушкин ехал в Крым (1820) и на палубе корабля думал о печальных берегах своей туманной родины, где в нем впервые „разгорались чувства“, он говорил уже об „утрате молодости и об измене легкокрылой радости“... В Крыму (1820) в самые веселые, беззаботные и счастливые дни своего изгнания, он утверждает, что ему не жаль ни былых мечтаний напрасной любви, ни круговых чаш и венков на пиршествах, не жаль ни друзей, ни дев ему изменивших, но жаль своей весны с ее минутами умиления, молодых надежд, сердечной тишиной, жаром и негой вдохновения... И он звал весну обратно... Она была тогда в полном цвету эта весна, и вдохновение било ключом... Но поэту казалось, что 21-й год жизни есть уже предостережение.

Всего сильнее грустное настроение овладевало Пушкиным в дни лицейских годовщин. — Первая годовщина, при выпуске была отпразднована, конечно, весело, с обычными, как полагалось при прощании, легкими нотками грусти. „Лета соединения“ кончились, „круг разорван“, дано обещание остаться верным святому братству. Поэт спокоен, беспечен, равнодушен и дремлет в ожидании, куда судьба ему укажет направить путь (1817).

Судьба им играет, из столицы бросает на юг, с юга опять на север, и годовщину Лицея 1825 года он празднует в одиночестве в своем Михайловском. Перед камином, в пустой келье, сидит он один за бокалом вина и грезится ему не столь далекое будущее:

Увы! наш круг час от часу редет;
Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет...
Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?
Несчастный друг, среди новых поколений
Доучный гость, и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой...

Но все же этот торжественный день протекает для поэта без горя и забот... Он предчувствует отрадное свиданье...

А всетаки: „Пора! пора! душевных наших мук не стоит мир. Оставим заблуждения! Сокроем жизнь под сень уединенья“!

Это была последняя песня молодости, которая не хотела еще уступать своих прав... Пушкину было 26 лет. Но годы шли, воспоминания роились, на сердце становилось все грустнее и грустнее. Когда умолкал шумный день и полупрозрачная ночная тень ложилась на стогны града, воспоминания безмолвно разворачивали перед ним свой длинный свиток — он с отвращением вспоминал о своей жизни, трепетал и проклинал... Не было тех жестоких слов, которые бы он не сказал своей отлетевшей молодости. Какие-то милые ангелы с пламенным мечом мстили ему и мертвым языком говорили о тайнах вечности и гроба (1828). Кошмар, конечно, был навеян недоброй минутой; но уже один такой приступ его говорил о том, что воспоминаний становилось больше, чем надежд впереди, что могила скоро заставит забыть о том, чему с такой страстью отдавался. Грехом казалась былая радость... Прощаться с молодостью такими жестокими словами было, однако, слишком жестоко, и были у Пушкина и иные слова, более милостивые:

О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары
Благодарю тебя. Тобою
Среди тревог и в тишине
Я наслаждался... И вполне;
Довольно! (1827).

Смущенный воспоминаниями, исполненный сладкой тоской, входил Пушкин в сады Царского Села. Так отрок, безумный расточитель, до капли истощив раскаяния фиал, увидев, наконец, родимую обитель, главой поник и зарыдал (1829). О чем он плакал? Не о грехах своих, конечно, какие же были его грехи? Он плакал о счастливых днях, когда-то проведенных в родимой обители.

На лицейском празднике 1832 года веселых слов уже не нашлось. Круг друзей редел; праздник в своем весельи становился все мрачнее и мрачнее.. Звон заздравных чаш глуше и песни грустнее... Тень любимого Дельвига витала над ним и звала его за собою...

Толпа теней сгущалась с каждым годом. Пришла, наконец, очередь и 1836 года. На 25-ти летней годовщине Лицея, Пушкин должен был сказать свое обычное приветствие. Оно было составлено в тонах относительно бодрых. Вспоминались прежние пиршества, когда молодой праздник сиял, шумел и розами венчался, когда, душой беспечные невежды, они все жили, и легче, и смелей и пили за здоровье надежд юности.

Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет как мы перебесился.
Он присмирел, утих, остепенился;
Стал глуше звон его заздравных чаш.
Меж нами речь не так игриво льется;
И реже смех средь песень раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.
Всему пора...

В протоколе праздника сказано: „Обедали вкусно и шумно. Выпили три здравия за 25-летие Лицея, за благоденствие Лицея, за здоровье отсутствующих, читали старинные протоколы, песни и прочие бумаги, хранящиеся в архиве лицейском, поминали лицейскую старину, пели национальные песни“. Может быть и Пушкин в конце пятичасового обеда стал весел, но — рассказывают очевидцы — когда он стал читать свое стихотворение, при первых же строчках, из глаз его брызнули слезы и стихотворение было дочитано другим товарищем.

VI

ПЕСНЬ ЛЮБВИ

Песня страсти нежной — преобладающий мотив в творчестве Пушкина. Представить себе поэта не влюбленным или не любящим как-то пельзя, и любовь его была всегда ясной, здоровой, жизнерадостной, любовью творящей, а не разрушающей, сколько бы в ней подчас ни было элегической грусти. И в этой любви царила обычная поэту гармония. Страсть и томление, мучение и восторг, духовное и телесное, драматическое и игривое — всеми этими гранями блестела его любовь. Мало было в ней только трагического.

По стихотворениям Пушкина можно рассказать историю его личной любви с 15-тилетнего возраста и историю любви вообще в некоторых ее типичных формах — любви сентиментальной, мечтательной, рыцарски восторженной, наивной, сладострастной...

Любви мистической, сливающей земную любовь с небесной и любви уходящей своими корнями в глубину философских начал жизни — мы не досчитаемся в творчестве Пушкина. Его любовь была реальная, трезвая, земная, и она не разлучалась с ним, ни в жизни, ни в мечтах. „Я более или менее был влюблен во всех женщин, с которыми встречался“, записал Пушкин в одной из своих тетрадей, и повторил эти слова в стихотворении (1828), в котором аттестовал себя „безпечным, влюбчивым, взирающим на красоту с умилением и робкой нежностью, и, несмотря на стократную обиду, несущим свои мольбы новым идолам“. Эрот в первый раз „постучался в его ворота“, когда Пушкину было 15 лет и он, рад не рад, не мог отказать ему в приеме. И в 30 лет Пушкин говорил, что от любви не спрячешься и за стенами Китая; и уже женатый, влюбленный и счастливый супруг, он (1832) спрашивал себя, почему он не может пройти мимо небесного, чистого, молодого создания, чтобы не следовать за ним глазами и любоваться им в томлении сладострастия? Он уверял, что при таких встречах мечты его бывали безгрешны, но уверял в таких словах, что как-то не вполне ему верится...

„В любви — счастье, и под лазурным небом жизни, и в часы житейской грозы“... „Сладостное внимание женщин почти единственная цель наших усилий“. Когда бушует в бурной мгле, играет житейское море с берегами, как бы ни была красива жизнь в часы ее бурь и гроз, но прекрасней и воли, и небес, и бури озаренная молнией дева, с которой ветер силится сорвать покрывало.

На женский характер Пушкин не очень полагался и говорил, что у женщин нет характера, а только страсти. Их чувству изящного он не доверял, но об их уме был очень высокого мнения. „Природа, одарив женщин тонким умом и чувствительностью самой раздражительной, писал Пушкин (1827), едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не достигая души; оне бесчувственны к ее гар-

монии; примечайте, как оне поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму. Вслушивайтесь в их литературные суждения и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия... исключения редки". „Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем". Этот комплимент повторен и в более решительной форме: „не странно ли почитать женщин, которые так часто нас удивляют быстротой понятия, тонкостью чувства и разума, существами нисшими в сравнении с нами? Это особенно странно в России, которая гордится женщинами, царствовавшими со славой (между прочим, Екатерина II) и где вообще женщины более просвещены, более читают, более следуют общему в Европе ходу вещей, чем мы, гордые бог ведает почему" (1827-31).

Казалось-бы мы могли ожидать, что с такими женщинами встретимся в творчестве Пушкина. Но на них только имеются намеки. В неоконченной повести „Рославлен" должна была появиться такая героиня, большая патриотка, которая „ход вещей в Европе" действительно близко принимала к сердцу. В другой, тоже неоконченной, повести Пушкин познакомил нас с некоей г-жей Вольской, образ которой был задуман как бы по контрасту с образом Татьяны. Все же остальные героини Пушкина жили только сердцем, иногда обладали природным умом, но образованностью, широкими интересами богатством мыслей оне не блистали — Людмила, черкешенка, Зарема, Мария, Земфира, Татьяна и Ольга Ларины, Мария Кочубей, дочь станционного смотрителя, Мария Троекурова, Мария капитанская дочка, Лаура и Анна, Русалка и, наконец, Клеопатра, которая всех их превзошла в своем откровенном служении любви. Такое служение Пушкин допускал, правда, лишь в виде исключения. Его героини были почти все нравственны и любимая из них — Татьяна даже образцом нравственности,

Любовные стихи Пушкина — непосредственный отклик пережитого, и все они имели своих вдохновительниц. Таких вдохновительниц было много среди молодых девиц, увлечение которыми было преходяще, и песня в их честь была нежна и воздушна. Были молодые дамы, оне на любовь отвечали, другие нет и песня в их славу была полна тревоги и страсти.

Иногда разгоравшаяся страсть возводила вдохновительницу в гения чистой красоты, в идеал байронической героини, чтобы потом низвать ее вавилонской блудницей. Иногда глубокое чувство куталось в густую пелену тумана и боялось выдать свою тайну. Но тайна себя обнаружила, когда приходилось сжигать письмо любви и называть его пепел — „отрадой бедной в судьбе унылой“, или когда приходилось держать в руках заветный талисман, данный на память, талисман, который должен был сохранить от коварных очей, от неискренного поцелуя, от преступления, от новых сердечных ран, от измены и забвения...

„Любовь — самая своенравная страсть, говорил Пушкин, и не признает она никаких законов; все возрасты ей покорны, хоть и печальны бывают следы страсти в зрелые бесплодные годы“ и еще более печальны в годы старости.

Пушкин не дожил, ни до зрелых бесплодных годов, ни до старости и в любви мы его знаем только молодым — юношей, повесой и шалуном, пажем в ожидании 15-тилетнего возраста (ему было 31 год, когда он в такого пажа преобразился), певцом весны любви, когда соловей влюблен в розу, которая его не слышит, певцом своей печали на заре дней; мы знаем его сильным и славным, когда грозит он своей славой женщине ему изменившей; Дон Жуаном, автором целого руководства *artis amandi*, которое он включил в первую песнь „Евгения Онегина“; знаем его певцом женских ножек и наконец знаем как влюбленного и верного мужа.

Везде со мной неутомима
Мне муза пела, пела вновь
Amorem sanat aetas prima
Все про любовь, да про любовь...

И эта *aetas prima* длилась для Пушкина все годы. Когда он жалуется, что любовь в его сердце гаснет, что он для нее умер, что пресыщен ею, что вспоминает с сожалением о своих увлечениях, о погубленных в любви годах, — мы не должны ему верить. Он, конечно, был искренен в своих словах, но такие туманы всегда таяли перед ежедневно восходящим солнцем. Набегали облака, даже грозовые тучи, наступала и неизбежная ночь — отдохнуть надо и от солнца — но серых дней и

холодных Пушкин в любви не знал. Гимн любви был им пропет во всех ключах, и мажорных, и минорных — любви, которая смертью может доказать свою силу, и дает разгореться тусклому светильнику жизни; любви, которая мертвит человека тем, что бьет ключем в его сердце, любви безумной и бешенству бесплодного желания... Слышался голос ласковый и томный, тревожащий молчание одинокой ночи и ответное признание в любви, признание в несчастной глупости, стоящей стольких слез... Все в этих чувствах было так просто, без всяких эффектных поз и романтических преувеличений, все так глубоко правдиво. В ранние годы любовная песня Пушкина любила щеголять нескромными вольностями в словах и в положениях. Стихотворения в этом роде были шалостью юного остроумия, которое с юностью и умолкло. Пушкин не был похож на тех зрелых людей и даже стариков (таковых среди наших писателей было не мало), которые с особенной любовью смаковали стихи не для печати. Уберечься от таких стихов в юном возрасте в те времена было трудно. Стихи прославленного Баркова были у всех в памяти, и в высших кругах стиль Регенства и Людовика XV имел многих подражателей.

Под пером Пушкина игривые и непристойные темы приобретали такую красоту, что художественная их обработка как бы свидетельствовала о пристрастии поэта к этим темам, и о развращенности его фантазии. Так, лицейское начальство, действительно, и поняло нескромную эротику Пушкина. Директор Лицея в 1816 году выдал Пушкину очень нелестную аттестацию: отрицал за ним, и ум, и сердце, утверждал, что в нем нет ни любви, ни религии, что сердце его так пусто как никогда еще не бывало сердце юноши. Суровость этого отзыва объясняется частью тем, что у Пушкина с директором были нелады, но, главным образом, весьма понятно нелюбовью директора к вакхическим и эротическим песням. „Нежные и юношеские чувства унижены в Пушкине воображением, оскверненным всеми эротическими произведениями французской литературы, которые он при поступлении в Лицей знал почти наизусть, как достойное приобретение первоначального воспитания“ — писал директор. И не одного его эти стихотворения конфузили. Один из очень умных людей того времени — Карамзин — в 1820 году обращал внимание министра народ-

ного просвещения на некоторые стихотворения Пушкина и его сверстников, в которых можно заподозрить скрытую проповедь большого разврата. Разврата, конечно, никакого не было. Был разгул фантазии, и состязание в остроумии с известными литературными образцами, начиная с римских элегиков и эпиграмматистов. Но что в увлечении скромными стихами свою роль сыграл и темперамент поэта, этого отрицать не приходится. Пушкин не всегда мог быть благодарным своему темпераменту и случилось однажды, что последствия прозаического его проявления пришлось скрывать от взоров близких и знакомых.

Мотивы ревности в песне Пушкина встречаются не редко. Они в полном согласии с характером поэта, который был ревнив.

Ревности припадки
Болезнь, так точно, как чума,
Как черный сплин, как лихорадки,
Как повреждение ума.

Пушкин изведal этот черный сплин, но стихи его не полно отразили его переживания. Сила ревнивой страсти облекалась в стих обыкновенно уже после пожара, и все вулканы ревности поэзии Пушкина перестали быть огнедышащими. О том, как они были грозны можно только догадываться. Но и в смягченной, художественной передаче эта исповедь ревнивого сердца производит сильное впечатление. „Черная шаль“ (1820) до сих пор остается в памяти, благодаря своему драматическому напряжению. Вспоминается и та мягкая сцена ревности, которую поэт сделал какой-то гречанке, когда заподозрил — не она ли служила моделью Байрону, когда он воспевал свою Леилу (1822). Помним мы и элегию:

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волнение?
Ты мне верна; зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображение?.. (1823).

Вспоминаем мы и другую элегию, в которой слово ревность даже не упомянуто, но где эта ревность на наших глазах зарождается:

Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит, печальна и одна...

Одна... Никто пред ней не плачет, не тоскует,
 Никто ее колен в забвеньи не целует;
 Одна ...Ничьим устам она не предает
 Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных

 Никто ее любви небесной недостойн.
 Неправда-ль: ты одна? ты плачешь? я спокоен;

 Но если... (1824).

Характерно, что в свои эпические и драматические творения, за исключением „Бахчисарайского Фонтана“ и „Цыган“, Пушкин не вводил мотива ревности. Быть может эта страсть стоила столь дорого, что вспоминать о ней не было радости?

Пушкин любил печальную радость воспоминаний. Их накопилось много, в особенности после ссылки. Там, на юге, на Кавказе, в Крыму, в Каменке, в Кишиневе и в Одессе была, кажется, пройдена Пушкиным самая основательная по разнообразию впечатлений школа любви—от любви самой чувственной до любви мечтательно идеальной. В воспоминаниях все преобразилось в грустную элегию, все стало как бы вдвойне дорого.

„Воспоминание, говорил Пушкин, самая сильная способность души нашей и им очаровано все, что подвластно ему“. „Иногда хочется не думать о предстоящей разлуке и не упреждать тех часов, когда изгнанием и могилой готов будешь купить хоть слово, хоть легкий шум шагов дорогого человека“. Иногда просишь под наплывом живого чувства любви не вызывать знакомой песнью дорогой и милый призрак былого, как-бы боясь, что этот призрак окажется сильнее живого человека (1828)...

Чаще всего Пушкин вспоминал о Тавриде. Шум моря, молодой кипарис, к которому поэт привязался чувством похожим на дружество, сияние груди гор на небе синем, узор долин, деревьев, сел, своды скал и моря блеск лазурный... Чередой неслись эти воспоминания; и был слышен тайный глас давно затерянного счастья:

Там, некогда, в горах, сердечной думы полный
 Над морем я влачил задумчивую лень,
 Когда на хижину сходила ночи тень
 И дева юная во мгле тебя искала
 И именем своим — подругам называла (1820).

Вспоминанию об этой юной деве, этой „элегической красавице“, обязаны мы поэмой „Бахчисарайский Фонтан“. Пушкин признавал, что поэма „отзывается чтением Байрона“, от которого „он тогда с ума сходил“. Но не Байрон дал этой поэме ее чарующую грусть и те полутона воздушной любви, которые так нежно в ней проступают. Поэма создана воспоминанием о той деве, которая являлась ему в образе купающейся Нереиды, по дворцу Гирея мелькала летучей тенью, чей нежный образ, неотразимый, неизбежный преследовал поэта. „Все думы моего сердца летят к ней. Безумец! зачем разглашать свое безумие“! Пушкин не хотел печатать поэмы, потому, что „многие места в ней, говорил он, относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и потому, „что роль Петрарки мне не понутру“. Последние слова характерны; любовь без награды, кажется, большой прелести для Пушкина не имела. Но он, как Петрарка и Дант, все-таки мог и с могильной тенью говорить языком страсти, и даже в ту минуту, когда живой человек владел его сердцем. В 1826 году Пушкин услышал о смерти одной женщины, которую он любил с „томительной нежной тоской, с безумством и мучением“. Равнодушно принял он эту весть и в душе его для бедной легковерной тени не нашлось, ни песни, ни слез. Прошло несколько лет и воспоминание начало тревожить поэта. Кажется ему, что он прощается в последний раз, но уже не с любимой женщиной, а с воспоминанием о ней, прощается с призраком окутанным могильным сумраком (1830). Через несколько дней поэт заклинанием вызывает мертвеца из могилы. Зовет возлюбленную тень, какой она была перед разлукой, зовет как дальнюю звезду, как легкий звук, как дуновенье, как ужасное видение — все равно. Зовет, чтобы сказать, что он ее любит, что он ей верен. Час разлуки все живее и живее воскресает в памяти, и он говорит:

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой.
В час незабвенный, час печальный
Я долго плакал перед тобой...
Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала,
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.

Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где под скалами дремлют воды
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
Исчез и поцелуй свиданья...
Но жду его: он за тобой!.. (1830).

Невеста Пушкина, в которую он был тогда безумно влюблен имела все основания на такие стихи рассердиться. Впрочем, как уже было сказано, Пушкин не сразу отрекся от всех своих прав в пользу невесты, в пользу своей „103-ей любви“, как он выражался. Ему было жаль „жертвовать безпечной, прихотливой независимостью, роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством“. Есть указание, что после свадьбы Пушкин разрешал своей любви выглядывать за семейную ограду. Но это нисколько не мешало ему быть страстно влюбленным в свою невесту и с такой же страстью любить свою жену: „люблю тебя так, что выразить не могу“. „Все для тебя, что бы ты была спокойна, и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотой“. „Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив“. „Я ни чем не заслужил перед богом это милое, чистое, доброе создание“.

Ни невесту, ни жену, Пушкин в своих любовных стихах не обидел. Еще тогда, когда Наталия Николоевна не была его невестой, он забывал для нее и холмы Грузии и шумящую Арагву и был весь полон светлой печалью о ней (1829). Он смотрел на образ пречистой и говорил невесте, что она его „Мадонна“ чистейшей прелести чистейший образец“ (1830). Всю страсть свою к ней излил он в том письме, которое от имени Онегина писал Татьяне (1831). О ней думал он, когда устами Дон Жуана изъяснялся в любви Анне. На наших глазах заключал он в объятие ее стройный стан и расточал ей нежные речи любви. Она отвечала ему недоверчивой улыбкой, храня печальные предания об его изменах. И он проклинал коварные старанья преступной юности, проклинал речей любовный шопот и ласки легковверных дев (1831). Смотри на нее, когда во всем блеске красоты и наряда она стояла перед ним он говорил:

Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг,
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает.
Встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговевя богомольно
Перед святыней красоты (1831).

Наконец поэт выдал нам самую нескромную тайну своего алькова:

Нет, я не дорожу мятежным наслаждением... (1832).

.

Он мог бы не выдавать ее... правда, мы лишились бы тогда одного драгоценного камня нашей лирики.

VII

ШУТКА И САТИРА

Пушкин любил смех, каким смеется здоровый дух и здоровое тело. Когда один из его приятелей стал выговаривать ему за легкость и незначительность сюжета в „Евгении Онегине“, Пушкин спрашивал, „неужели он хочет изгнать все легкое и веселое из области поэзии. Куда же денутся сатиры и комедии? Должно будет уничтожить и Orlando Furioso, и Гудибраса, и Руссelle, и Вер-Вера и Рейнеке-Фукс и лучшую часть „Душеньки“ и сказки Лафонтена и басни Крылова... Это немного строго!“ Пушкин мог бы добавить Боккачио, Касти, Спенсера, Чаусера, Виланда, Байрона, на которых он указывал при другом случае.

Литература игривая, веселая, легкая и вольная всех стран была Пушкину хорошо знакома. Русская литература таким богатством не обладала, но и она могла назвать немало сочинений „презревших печать“, и Пушкин еще в 1814 году обнаружил достаточную в них начитанность. И сам он умножал их число и его вольные стихи ходили по рукам в многочисленных списках. Попасты в собрание его сочинений они могли лишь в

усеченном виде. Такие стихи были тогда в моде; уважаемые старики-писатели, начиная с дядюшки Пушкина, сами были не прочь пошалить в этом стиле.

Популярность Пушкина, как автора таких шалостей, росла очень быстро. Он удостоился даже лестного сравнения с Вольтером, как его величал один из его друзей, поэт Туманский; и много лет спустя, другой поэт—Катенин—сказал ему, что он „собаку с’ел во всем сладострастном“. Откровенная эротика в вольных стихах Пушкина попадалась часто, но не она оправдывает сравнение его с Вольтером. Как Вольтер для своего времени был царем остроумия, так и про Пушкина можно сказать, что в его эпоху он был первым остроумцем. Когда он смеялся ядовитым смехом, он имел сильных соперников в лице Крылова и Грибоедова, который из эпиграмм составил целую комедию. Но в умении шутить весело, игриво, с легкой иронией, с сарказмом, не печальным и не слезным, и всегда с большой грацией и умом, Пушкин соперников не имел. В его стихах отразилось то „веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться“ — которые казались ему „отличительной чертой в наших нравах“. И диапазон его шуток был большой, от эротических тем до самых серьезных, общественно политических. Чья шутка была так подвижна и разнообразна в своих движениях и часто так художественно красива? Даже в циничном сюжете грубость не резала слуха, и если рифмованная вольная шутка есть особый род художественного творчества, то Пушкин в этой области изящной словесности был новатор.

„Поэзия, как природа“, говорил он, „нам приятно видеть во всех состояниях и изменениях его живой творческой души: и в печали, и в радости, и в порывах восторга, и в отдохновении чувств, и в ювенальском негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа. Благоговею перед созданием „Фауста“, о люблю и эпиграммы“.

Заплатив в юности свою дань игре вольной фантазии, Пушкин ее обуздал, хотя и в зрелые годы случилось проговариваться. Нескромности стали уступать место веселому анекдоту и такой анекдот стал приближаться к бытовой жанровой картинке. Шутка становилась вдвойне ценной: она оставалась шуткой и вместе с тем была страничкой из русской жизни.

Такова была поэма „Граф Нулин“ — анекдот и этюд с натуры: молодая помещица, очень не строгих нравов, ее муж, любитель псовой охоты, и вертопрах, русский путешественник за границей, но не в Карамзинском стиле. Шуткой был и рассказ об обывателях „Домика в Коломне“ — картинка маленького мещанского хозяйства. И некоторые из повестей Белкина были также анекдотами — хотя бы перечень приснившихся гробовщику покойников, которые были не безплотными духами, а чисто русскими обывателями. Как можно использовать простой анекдот Пушкин только наметил, но два таких анекдота он рассказал Гоголю, и „Мертвые Души“ и „Ревизор“ были написаны как бы в сотрудничестве с Пушкиным.

Комическое и веселое в творчестве Пушкина облекалось и в форму сатиры. Сатире Пушкин придавал разные формы — послания, шутливого стихотворения, прозаической сказки и того, что мы называем теперь фельетоном. Не все задуманное было выполнено; задумана была какая-то сатира „Влюбленный бес“, и предполагалось также дать описание „бала у сатаны“ (1821) — где должны были появиться многие из тогдашних политических деятелей. Образцом сатирического фельетона могут служить остроумные статьи, подписанные Косичкиным — и направленные против тогдашних видных журналистов. Сатирические послания представлены двумя посланиями цензору — искуснейший пример того, как в благонамеренных выражениях можно вести неблагонамеренные речи.

Любимой формой сатирического выпада была эпиграмма. Пушкин неподражаемо умел их оттачивать. Имели они большой успех в широких кругах, в особенности эпиграммы политические, которые были первыми образцами нашей подпольной литературы.

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он упрямо,
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!

Такое удовольствие Пушкин доставлял себе часто, но жалел, что не может доставить его себе в полной мере. „Где

у меня сатира? говорил он по поводу „Евгения Онегина“. О ней и помина нет в поэме. У меня бы затрещала набережная, если бы коснулся я сатиры“. Приходилось считаться с обстоятельствами и держать язык на привязи. А эпиграммы и сатирические афоризмы на язык просились; это видно по тому большому их количеству, которое Пушкин вкраплял в свои поэмы и повести. Он не мог не быть остроумным. Мишенью он не стеснялся — стрелял он по вельможам, министрам, высокопоставленным духовным лицам, по царю... Не пощадил он однажды и Карамзина и был удивлен, что на него за это рассердились... Сатирический задор с годами не унимался. Как в 1821 году Пушкин говорил какой-то зрелой прелестнице, что для них, т. е. для нее и для него наступила пора, когда им можно начать злословить, так и десять лет спустя он писал:

О муза пламенной сатиры
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне ювеналов бич!
О сколько лиц бесстыдно-бледных,
О сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать... (1830).

Печать была в некоторых случаях, действительно, неизгладима. Как, напр., та, которую он наложил на облик С. С. Уварова в известном стихотворении „На выздоровление Лукулла“ (1835). Никогда еще в стихах Пушкина злость так не кипела. Она напугала его самого. „Мне досадно, что я напечатал это стихотворение, написанное в минуту дурного расположения духа. Его опубликование вызвало недовольство одного лица, мнением которого я дорожу и нападать на которого я не могу, не подвергая себя упреку в неблагодарности и безумии“. Последние слова — слова дипломата: Пушкин не хотел, чтобы это стихотворение было переведено на французский язык и косвенно просил переводчика, не причинять ему этой неприятности. Но неприятность вышла всетаки большая и существует предположение, что это стихотворение может быть приведено в некоторую связь с полученным Пушкиным анонимным дипломом. Предположение это ни на чем не основано, но сти-

хотворение знаменательное. По нему можно судить как натягивались отношения между Пушкиным и высшим светом.

Так во всех темпах и тонах, от веселости до страшной злобы, проявляла себя сатирическая жилка в характере и темпераменте Пушкина. И остроумие поэта было не заменой, а постоянным спутником его ума и доказывало, —

что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

VIII

В О Е Н Н Ы Е М О Т И В Ы

Пушкину было около двадцати лет, когда идеалы первых годов Александровского царствования могли назваться несбывшимися надеждами и мечтами. Пушкин не забывал об этих мечтах; оне всегда были ему дороги. Среди идей, с ними связанных, была одна мысль, горячившая тогда сердца весьма многих — это была красивая, поэзией обвитая, мысль о мече, стоящем на страже свободы. После 1812 года, после компаний 1813—1815 годов, после низвержения Наполеона, мы имели полное право думать, что этот меч нашим рукам доверен. И Пушкин в юности был певцом такого меча освободителя.

Пушкин, по природе своей, здоровой, бодрой и жизнерадостной, бывал часто воинственно настроен и любил в стихах вспоминать о войне, ее славе и ее героях. Мы отвыкли от такой военной поэзии; наши художники давно уже стали большими пассивистами и если говорили о военных и их подвигах, то почти всегда осуждая войну как таковую. Впрочем, после Крымской компании и последующих войн, понижение военного пыла и пафоса в писателе — вполне понятно. Да и рост нашей передовой общественной мысли с половины XIX века должен был привести нас к осуждению военного героизма. Во времена Пушкина на войну смотрели иначе. С XVIII века победы России служили темой для поэтических упражнений и все слагатели од и поэм могли со спокойным сердцем сказать себе, что они, при всех гиперболах и метафорах, не погрешили против искренности чувства. Гимн победоносному и христолюби-

вому воинству, ополчающемуся на защиту поработанных и угнетенных, был в Александровское царствование, после падения Наполеона — гимном национальным. Таким он оставался и после 1815 года, когда наш меч, правда уже в ножнах, оберегал священный союз императоров и королей от покушения разных „возмутителей“. При Николае Павловиче этот меч продолжал стоять на страже установленного порядка и, по недавним воспоминаниям, был у соседей в большом почете. Николай Павлович европейских войн не вел, но в Турции и на Кавказе, а затем и в Польше бранные подвиги продолжались. При Александре I мы еще знали, что такое поражение, хотя и заслоненное конечным успехом; при Николае I мы поражений не знали вплоть до Крымской компании, до которой Пушкин не дожил.

Пушкин бывал воинственно настроен, не только на словах, но и на деле, в отличие от многих современников, которые, облакаясь часто в словесные латы, оставались кроткими, мирнейшими обывателями. Этот воинственный дух Пушкина был даром природы, был подогрет в нем тем военным кругом, в котором он в юности вращался и был освящен литературной традицией, так как, и Жуковский, и Батюшков одно время носили военный мундир. Наконец этот военный мундир был одним из видов проявления любви поэта к „свободе“. Пушкин был так увлечен войной, которая „освобождает“ от „тиранов“ — Европу ли или только Грецию — что продолжал любить военную силу и тогда, когда она на службе Священного Союза или на Кавказе и в Польше с „освобождением“ ничего не имела общего. Такая непоследовательность объясняется впрочем очень просто — всегда повышенным чувством патриотизма в душе поэта.

Гром гремит на холмах, стрелы свищут в сгущенном воздухе и щиты залиты кровью. Москву сожрал пламень, а он, прошедший в Москве золотое детство — не принес ей в жертву ни мщенья, ни жизни! Гневом пылал его дух, но напрасно! О если бы музы дали ему дар песнопения — как возгремел бы он на лире! Пушкину казалось тогда (1815), что в нем нет силы вдохновения, чтобы воспеть кровавый пир войны. Он чувствовал, что для таких песен он не создан, что путь его как поэта иной. И в этом он был прав. Пламень

истинного вдохновения встречается в его военных мотивах редко. Но в них всегда был пламень увлечения.

Пушкину слышится глас славы, и близок грозный час, когда заблещет на нем пара эполет и он наденет узкие рейтузы (1815). Среди воинственной долины носится он на крылах мечты... Огни догорают во стане, окутанный плащом лежит он... Вдали сверкают штыки, ржут лихие кони, изредка грохочет гром. Конь его с грозным седоком летит как орел в ряды врагов, и с размаха сыплются удары (1815)... Все это снится поэту, и этот сон ему навеян гусаром, который проскакал под его окном.

Гусар в стихах Пушкина гость частый. Потому ли, что первый гусар, которого он полюбил был Чаадаев, потому ли, что гусару вообще полагается быть красивым и удалым, но только сей наездник долго не давал покоя фантазии Пушкина. Гусар стыдил поэта, когда он был влюблен и изменял свободе (1815). Скосив глаза на кудрявый ус, с величавой улыбкой, слушал гусар какого-то мудреца, который напоминал ему о скоротечности жизни; и, глядя на своего собеседника, мудрец стал с завистью вспоминать о веселых ужинах, о разбитых бутылках и о милой красотке (1816). „Жизнь не слишком мудрых усачей, но сердцем истинных гусаров“ (1817), казалось Пушкину очень заманчивой. И много лет спустя, все тот же гусар прельщал его рассказом о своей удали и доказывал, что ему сам чорт не брат (1833).

Пушкин жалел, что он родился слишком поздно и что героическая эпоха, для других действительность, стала для него воспоминанием. Он расцветал беспечный, безмятежный, когда умирали братья! Отдать родине свою жизнь ему не пришлось. Почему, покрытый ранами не пал он, сжимая меч в младенческой руке! (1815). Может быть когда-нибудь бог мечей встанет с одра покоя и грянет громкий вызов? Тогда поэт покинет мир полей и среди воинственных дружин, среди сечи и пожаров он будет рубиться (1819).

В 1819 году Пушкин вдруг решил поступить на военную службу. Он собирался в Тульчин, а оттуда в Грузию, бредил войной, и слышать не хотел о мирной карьере. И за границу даже не хотел ехать. Но эта была вспышка темперамента и игра мечты.

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Во цвете лет свободы верный воин
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин (1820).

Годы шли, военные мотивы в творчестве попадались все реже и реже, но пыл оставался тот же. „Ты понимаешь как тень опасности нравится мечтательному воображению“, писал Пушкин брату с Кавказа (1820). В 1821 году, когда Греция боролась за свое освобождение, это мечтательное воображение сильно разыгралось, и ходили слухи, что Пушкин бежал к грекам.

„Шумят знамена бранной чести, увижу кровь, увижу праздник мести, заблещет вокруг меня губительный свинец... Сколько сильных впечатлений!.. Тревога стана, звук мечей, падение ратных и вождей. Все будет ново — простая сень шатра, огни врагов, их чуждое взывание, вечерний барабан, гром пушки, визг ядра и смерти грозной ожиданье. Быть может мне достанется на честь двойной венки, и воина и поэта“? (1821).

Венок воина Пушкину не достался, но он всю свою жизнь не мог без повышенного чувства говорить о тех, кто был им увенчан. Иногда сама муза являлась ему в воинственной одежде, бродила с ним по скалам, вокруг аулов, заходила в бранные станицы и обещала ему рассказать о том славном часе, когда двуглавый орел поднялся над негодующим Кавказом, когда загремели русские барабаны и пылкий Цицианов и Ермолов заставили Кавказ смириться. Она обещала ему воспеть Котляревского, который как бич промчался грозой над Кавказом и как черная зараза губил и уничтожал племена... Но муза своего обещанья не сдержала. Ни одной кровавой поэмы из кавказской жизни Пушкина не написал. Он зарисовал только делибаша на пике и казака без головы и сумел в двух-трех штрихах передать всю удасть кровавого.

Из отечественной войны Пушкин также не взял ни одной темы, хотя воспоминание были свежи и никто этих тем у него

не оспаривал. С поникшей головой стоял он перед святой гробницей Кутузова в годовщину польского восстания и звал маститого стража державной страны придти на помощь царю и отечеству. Но сна героя поэт не нарушил рассказами об его подвигах и военными трубами. Молчали оне и тогда, когда поэт стоял перед портретом Барклая и думал над участью несчастливого вождя, который все принес в жертву чужой ему стране и заслужил лишь брань и крики поклонников минутного успеха, не умеющих понять и оценить истинного героя.

При несомненной воинственности своего характера Пушкин не любил пролитой крови и описание Полтавского боя лучший пример того, как можно щадить кровь, изображая движущуюся панораму сражения. В военной атмосфере Пушкин чувствовал себя, однако, как дома. Стоит прочесть его рассказ о пребывании в армии Паскевича, чтобы по этому наивному и мало отделанному рассказу увидеть — как легко, непринужденно, чисто по военному, мог жить поэт в лагерной и походной обстановке, хотя, как он признавался брату, он в войне „ни чорта не смыслил“. Усталости он не знал, в партикулярном платье, верхом на лошади, мчался он вперед, то к своим, то на встрече врагу; всюду ему хотелось поспеть все видеть, испытать и ужас, и веселье бранного подвига. Был он и в палатке главнокомандующего, и в передовой цепи.

Из этого похода Пушкин вернулся домой почти с пустым портфелем, если не считать нескольких случайных стихотворений, в которых военный мотив слышался очень глухо или совсем отсутствовал. Рассказом о пребывании его в армии читатели остались недовольны и некоторые критики рассердились на поэта за то, что он не воспел подвигов нашего оружия так, как бы надлежало. Но муза Пушкина, считаясь, конечно, временами с его личным воинственным настроением, воинственной сама не была. Даже к самому богу войны она отнеслась очень сдержанно и с предвзятой мыслью.

Тень Наполеона, с которой Пушкин встретился на заре своей жизни, его не растрогала, и не пленила, и вызвала в его душе только чувство примиренного сострадания. Слава великого полководца после его пленения начинала жить второй жизнью. Страсти затихли, обиды и мучение забывались, нивы политые кровью, успели зазеленеть... Поэты стали создавать

наполеоновскую легенду и кондотьер XIX века преобразался мало по малу в символ величия и могущества человека, и не только могущества военного, но и величие духа вообще. Гениальный стратег, гениальный поэт войны, царь мечты завоеваний — он продолжал покорять сердца и воображение.

При первой встрече с еще живым его обликом в Пушкине заговорило патриотическое чувство. Он не имел для Наполеона других слов, кроме слов злобного осуждения. — Царь, венчанный коварством и дерзостью, бич вселенной, презревший правды глас, и веру, и закон; в гордыне возмечтавший мечом низвергнуть троны... Крещенный мир потопил он в крови, не щадил и некрещенного, и был низвержен в ничтожество... О чем думал он, когда судьба дала ему первое предостережение? В уме губителя теснились мрачные думы. Новую цепь ковал он Европе. Гибельной грозой собрался он грянуть. Бледнеющий мятеж сидел на палубе той ладьи, которая должна была вернуть его из первого заточения во Францию. Мщение! Мщение! взывал он. Рыдай Европа! Твой бич восстал, все падет во прах, все сгибнет, и во всеобщем разрушении воссядет царь на гробах. Но хищнику не удалось торжествовать. Звезда губителя потухла в вечной мгле и пламенный венец померкнул, и пал он, отторжен от вселенной. О! как я тебя ненавижу самовластительный злодей!.. С свирепой радостью вижу я гибель твою и смерть твоих детей. На твоем челе народы читают печать проклятия. Ты — ужас мира, ты — срам природы! Упрек ты богу на земле! (1815-1819). — Много в этих стихах реторики, патриотического пафоса, есть и последовательная мысль. Наполеоном попорана свобода и войны его — войны не „восстания“, а захвата. Нельзя простить герою, ни его презрение к человечеству, ни его увлечение самовластием. На грудь родной матери своей — новорожденной свободы ступил колосс в постыдном величии, соблазнив рабов, опьянив их победами и обвив цепи их лаврами. Могильный сон носился над главой Европы. Но Россия отомстила за попоранную свободу. Все обиды до последней были оплачены тирану...

Но чудесный жребий совершился, и угас великий человек (1821). Перед могилой, перед урной, в которой лежит его прах, урной, над которой почил ненависть народов и уже заблестел луч бессмертия, смолкают осуждения и злые воспоминания...

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал!

Русский меч отомстил за поправленную свободу и в этом высокий жребий России. И вечную свободу завещал Наполеон миру тем, что жребием своим доказал, сколь ужасная казнь ожидает тех, кто изменяет свободе, предает ее и на нее посягает...

„Ода на смерть Наполеона — мой последний либеральный бред“ — говорил Пушкин. Прошло два года — свободолюбие в сердце Пушкина еще не утихло... И он продолжал негодовать на тиранов. Но тираном был уже не Наполеон, а Александр I. Он, освободитель Европы, стоял теперь во главе теснителей и давал всем народам чувствовать силу его железной стопы и жезла. И пришла поэту мысль — вызвать тень Наполеона и заставить ее явиться Александру I в его чертоге. И тень эта явилась:

То был сей чудный муж, посланник провиденья,
Свершитель роковой безвестного веленья,
Сей всадник, перед кем склонялися цари,
Мятежной вольницы наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь, исчезнувший как сон, как тень зари...
...Чудный взор его живой, неуловимый
Как боевой перун, как молние сверкал...
Таков он был, когда в равнинах Австерлица
Дружины севера гнала его десница,
И русский в первый раз пред гибелью бежал...

Раздражение на Александра I заставило Пушкина даже подавить в себе чувства патриота. Но что мог Наполеон, хладный кровопийца, сказать Александру? Пушкин стихотворения не дописал и оставил его в чериновых тетрадах, так как не мог же Наполеон начать учить Александра, как со свободой должно обращаться?

Когда в 1824 году, уезжая в ссылку на север, Пушкин прощался со свободной стихией, он вспомнил о скале, гробнице славы, где угасал Наполеон и почил среди мучений. Поэт был мечтательно грустно настроен, люди казались ему недостойны любви, трагедия земного величия чувствовалась им так ясно, и он вспомнил о Наполеоне и Байроне, и поклонился, и могиле тирана, и могиле бойца за свободу.

В Михайловском Пушкин читал записки Наполеона. Они его не только не тронули, но рассердили — он сказал, что Наполеон поглупел на своей скале, что он лжет, что он похож на парижского памфлетера...

Титул тирана за Наполеоном остается. Титул героя — сомнителен, потому что сердца у Наполеона не было. А если у героя отнять сердце — что останется? спрашивал Пушкин (1830). Положим, чтобы не лишать людей возвышающего обмана, можно присочинить это сердце, добавлял он.

Легенда о Наполеоне многое присочинила, но Пушкин ее росту ни одним словом не способствовал.

IX

РЕЛИГИОЗНОЕ НАСТРОЕНИЕ

В марте месяце 1824 года, из Одессы, Пушкин написал кому-то письмо, дошедшее до нас лишь в виде отрывка „...читая библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь узнать, что я делаю... Пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов тысячу, чтоб доказать, что бытие существа разумного творца и управителя недопустимо, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастью более всего правдоподобная“...

Письмо было перехвачено и послужило поводом высылки Пушкина из Одессы в Михайловское. Сам Пушкин неоднократно повторял, что именно за эти строки он сослан в де-

ревню, и негодовал на такую расправу за „школьническую шутку“.

Уроки атеизма шуткой, однако, не были. В своих мыслях о религии Пушкин в юности был такой же вольнодумец, как и во взглядах политических. Глубиной мысли не блистал, но речи говорил вызывающие. Такие речи слышались тогда часто в кругах, в которых Пушкин вращался. Вольтер и Энциклопедисты забыты не были. Повод к вольной трактовке религиозных вопросов могла подать и относительная свобода в их обсуждении, которая установилась в первую половину царствования Александра Павловича. Много было тогда людей, которые не настаивали на строгом признании господствующих догм. В конце царствования гонение на свободную мысль и религиозный обскурантизм, со своей стороны, могли вызвать во многих желание — ответить вольной речью или насмешкой на насилие над свободной мыслью и свободной совестью. Наконец, в большом ходу была тогда французская богохульная литература, возникшая еще в XVIII-м веке, не особенно богатая по количеству, но очень смелая и в литературном отношении хорошо граненная.

Пушкин по природе своей был мало склонен к религиозным настроениям и в особенности размышлениям. В его статьях, черновиках и в его переписке почти нет указаний на книги религиозного содержания, кроме, конечно, библии, которую Пушкин читал усердно. Из известных философов моралистов, для которых религия была, действительно серьезной проблемой жизни, а не предлогом для острословия и выкладок „здравого разума“ — как у Вольтера — упоминаются только два имени — Монтэня и Паскаля.

Религия была для него самой интимной областью его душевных переживаний. Он стремился охранить этот тайник своего сердца от чужого глаза, но случалось, что и нарушал обычное молчанье; и тогда во всем, что он говорил, чувствовался человек религиозный, но без обычных для религиозного человека слов, привычек и внешних актов благочестия. Сколько в стихах Пушкина молчаливых молитв, без коленопреклонения, но с живым христианским чувством и поэтическим вдохновением.

Но прежде чем религиозный мир снизошел на его душу, она прошла через полосу религиозного индифферентизма, очень

игривого... Это был именно индифферентизм, а не сомнение или безверие — „безверие“, которое в 1817 году, на экзамене в Лицее—выполняя данное стилистическое задание, — Пушкин громил и поражал всеми ударами школьного красноречия.

Верой он не мучился; над догмами головы не ломал. Он в юности подсмеивался над религией, ее учением и обрядовой стороной, а затем склонился перед тайной. Его юношеский „афеизм“ не имел ничего общего с отвлеченной мыслью. Это был каприз фантазии и одно из проявлений эмоционального свободомыслия и свободоречия.

Когда впервые фантазия поэта стала непочтительно относиться к традициям религии, в которой он был воспитан, определить трудно — вернее всего еще в Лицее и, кажется, что соблазнили его тогда Олимпийские боги. В одном загадочном стихотворении, написанном в 1830 году, терцинами“, в стиле „подражий Данте“, сохранено как будто воспоминание о тех далеких днях, когда покой религиозного полусознания был нарушен первым соблазном.

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много —
Неравная и резвая семья;

Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.

Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало
С младенцами беседует она.

Ее чела я помню покрывало,
И очи светлые, как небеса;
Но я вникал в ее беседы мало.

Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров
И полные святыни словеса.

Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров.

Кто была эта величаява жена, смиренная, одетая убого, которая сладким голосом беседовала с младенцами? Слова ее были полны святыни. Но резвые младенцы ее советам не следовали и превратно толковали смысл ее правдивых и понятных слов... Как часто в школе приходится слышать такую правдивую речь наставлений, напутствий и увещаний, речь со ссылками на святыя слова, и как часто величаява простота этих слов остается без отзвука!

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.

Там нежила меня дерев прохлада;
Я предавал мечтам свой слабый ум,
И праздномыслить было мне отрада.

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.

Все мраморные циркули и лиры,
И свитки в мраморных руках,
И длинные на их плечах порфиры —

Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья
При виде их рождались на глазах.

Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

Один — Дельфийский идол — лик молодой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный
Сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон — лживый, но прекрасный...

.

Стихотворение не окончено и мы не знаем, что Аполлон и Вакх-Дионис говорили поэту. Но их слова можно легко восстановить по лицейским стихотворениям. В саду, среди порфировых колон и античных статуй, а не в школе перед кафедрой учителя и проповедника, пробуждалась фантазия. Старые мудрецы и поэты, со свитками в руках, горячили ее и, конечно, тогда, когда впервые поэт стоял перед идолом Дельфийского бога, этот бог не казался ему, ни гневным, ни полным ужасной гордости, как и женообразный и сладострастный Вакх не был для него тогда лживым идеалом. Таким он мог казаться поэту после, в 1830 году, накануне женитьбы.

Достоинно прославив античных богов в годы своей школьной жизни, Пушкин в 1817—1824 годах стал острить над богом христианским. Мишенью его шуток и острот была православная церковь и ее служители. В этих шуточных, а иногда богохульных словах, конечно, никакой серьезной религиозной мысли не было. Предлагать что-нибудь взамен осмеянного Пушкин и не думал. Он был настолько не тверд в своем „афеизме“, что в самый разгар его он способен был говорить о заслугах православия, чтобы опять перейти к какому-нибудь острословию.

Богохульство Пушкина и его атеизм облекались почти всегда в стихотворную форму эпиграмм, легких коротких стихотворений, строф в посланиях к друзьям. Были среди этих стихотворений и одна большая поэма — на тему о непорочном зачатии, известная „Гаврилиада“.

Рассмеяться самому и других заставить смеяться — вот что значило для молодого человека вступить в борьбу с божеством. Двух серьезных прозаических строк не написал он на эту тему. Можно ли придавать какое-нибудь значение его словам, когда он говорит о священниках, равнодушных к Вакху (1814), о том, что он сельских иереев „не терпит“ (1814), что он век не мог-бы выучить ни „Отче наш“, ни „Богородицу“ (1815), что он устал от веселья, как измученный дьячок у наоя в Великий Четверг (1814), что он не прочь за бутылкой побеседовать о царе небесном (1819), что о покойной тетушке он — смотря по тому, что дешевле — закажет молебен или панихиду (1824), что он едет молиться в игорный дом (1830)... Кто в таких словах будет искать какой-нибудь религиозной мысли? Напрасно искать ее и в тех эпиграммах,

которые направлены против Фотия, кн. Гольцина, петроградского или кишиневского митрополита. Некоторые из этих шуток поражают, действительно, неприятно, когда, напр., поэт начнет евхаристию сравнивать с попойкой (1821) — и прав был А. Раевский, когда он говорил Пушкину: „вы недостаточно уважаете религию“.

Наибольшее оскорбление, какое он ей нанес, была „Гаврилада“ (1822). Об этой поэме велось целое дознание (спустя несколько лет после ее написания) и Пушкину грозили большие неприятности. Поэт не желал признать своего авторства, и только после какого-то интимного разговора с царем Николаем Павловичем дело было предано забвению. Сам Пушкин о своей поэме не вспоминал.

Техническим выполнением поэмы Пушкин мог гордиться, но едва ли мог поставить себе в заслугу превращение таинства в непристойную феерию. К тому же и самый сюжет принадлежал не ему, а был скомпанован из мотивов, образов и положений, которые Пушкин нашел в разных книгах, преимущественно у Вольтера в его „Девственнице“, которую он считал лучшим художественным произведением Вольтера и у Парни в его поэме „Война богов“. Вкус к таким шуткам должен был пройти скоро.

И, действительно, в том же году, когда была написана „Гаврилада“, в „Исторических Замечаниях“, Пушкин говорил о культурной роли духовенства и монашества в России, о важной должности духовенства в деревнях, и о нужде деревни в священниках. Он порицал равнодушие народа к отечественной религии, презрение его к попам и указывал на то, что греческое вероисповедание дает нам особый национальный характер и что в России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. „У нас, писал автор „Гаврилады“, духовенство, огражденное святыней религии, всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством“ (1822).

Времена Николая Павловича не были благоприятны для светских разговоров о религии, если эти разговоры не сводились к трафаретному славословию.

Когда, в 1826 году, Пушкину было предложено высказаться о желательном направлении в народном воспитании, он

религиозную сторону вопроса обошел молчанием... Молчал он и в последующие годы и только при случае, изредка, в переписке или в журнальных статьях, давал понять — насколько неправы те люди, которые считают его „безбожником“ или придают значение двум строчкам в интимном письме...

Отметим то немногое, что случайно критик и публицист сказал о христианстве, этом „величайшем перевороте нашей планеты“.

„История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне его“! (1830).

В 1829 году, в бытность свою на Кавказе, Пушкин очень заинтересовался дьяволопоклонниками язидами и „успокоился“, когда узнал, что все их дьяволопоклонство — басня. Говоря о способах, какими мы могли бы черкесов приобщить к культуре, Пушкин указал как на нравственное и сообразное с просвещением средство, — на проповедь Евангелия. Но об этом средстве Россия доньше и не думала. „Терпимость сама по себе вещь очень хорошая, говорил Пушкин, но разве апостольство с ней не совместимо? Разве истина дана нам для того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены народами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений и никто еще из нас не думал препоясаться и идти с миром и крестом к бедным братьям, лишенным доньше света истинного. Так ли исполняем мы долг христианства? Кто из нас муж веры и смирения уподобится святым старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии и Америки, по примеру апостолов и новейших римско-католических миссионеров? Мы умеем спокойно, в великолепных храмах, блеснуть велеречием... Мы читаем светские книги и важно находим в суетных произведениях выражения предосудительные (т. е. имеем цензуру и за пустые слова ссылаем писателей). Предвижу улыбку на многих устах (т. е. мне ли, Пушкину, подобает выступать в роли апостола?). Многие, (вспоминая о моих юношеских стихах) подумают, что не всякий имеет право говорить языком высшей истины. Я не такого мнения“.

В 1836 году Пушкин находил большую привлекательность в чтении проповедей Георгия Конисского, а читая „Словарь святых православной церкви“, дивился крайнему нелюбопытству людей, не имеющих никакого понятия о житии того свя-

того угодника, чье имя носят от купели. И во всех тех случаях когда Пушкину в критических и публицистических статьях приходилось говорить о „жалких скептических умствованиях XVIII века“ во Франции, он хвалил французов своего времени за их сильное религиозное стремление и за торжественное отречение. Он хвалил Шатобриана, Балланша и даже Ламартина, которого как поэта не любил.

„Религия, говорил Пушкин, источник поэзии у всех народов“. Сам он ее темами пользовался редко, хотя старался разыскивать их. Библию он читал часто, читал жития святых и в 1831 году советовал Жуковскому читать Четь-Минею, особенно легенды о Киевских чудотворцах, так как они, „прелесть простоты и вымысла“. Сам он, хоть и делал выписки из Четь-Миней, но этим матерьялом не воспользовался.

Религиозные мотивы в стихах Пушкина попадают редко, но во все годы. В 1821 (!) году было набросано стихотворение, в котором говорилось о каком-то строгом игумене, о грешнике и о жене... в тонах серьезных. В 1822 (!) году набросан рисунок какого-то монастыря. Есть указание (1830), что в число драматических сцен или очерков, которые предполагались к обработке должна была войти тема „Иисус“. К 1836 году относится краткое переложение одного итальянского четырехстишия на тему о мучениях Иуды в преисподней. В этом же году, Пушкину зачем то понадобился в деревне „стих об Алексее, божьем человеке“.

Случалось, что религиозный мотив выливался и в законченную форму. Было написано знаменитое „подражание Корану“ (1824) — величавое изображение пламенной веры и преклонения человека перед божьим могуществом. К митрополиту Филарету, хоть он и мало был похож на серафима, поэт в минуту сожаления о растраченных в мирской суете духовных силах, обращался в священном ужасе со словами благодарности и за то, что пастырь, с высоты духовной, простер ему руку и смирил буйные мечты силой любовной и кроткой (1830).

Вид монастыря на Казбеке наводил на думу о далеком вожденном бреге и вызывал желание скрыться в заоблачную келью (1829). Случайно попавшаяся в руки старая проповедническая книга заставляла на час, на другой, переживать совсем необычное для поэта настроение, которое некогда пере-

живали люди, когда, мучимые жаждой веры, бросали семью и родной кровь (1834).

Возвращаясь домой после великопостной службы можно было повторять молитву Ефрема Сирина и так проникнуться ею, что спустя несколько месяцев переложить ее в стихи (1836).

В 1829 году Пушкин, под свежим впечатлением поездки в Эрзерум набрасал план поэмы, героем которой должен был стать черкес-христианин. От этой поэмы, блещущей бытовыми красками Востока, остался отрывок „Галуб“ (1829—1833). В поэме намечены и набросаны два мотива — христианской любви к врагам — мотив в творчестве Пушкина единственный — и мотив религиозного созерцания природы.

Образ Тазита, даже не дорисованный, передает с наивной простотой и ясностью те редкие душевные переживания, которые предшествуют обращению. Среди родимого аула Тазит был как чужой; он днями молчаливый бродил в горах, среди скал, любил внимать голосистой буре и в бездне воющим волнам. Недвижно сидел он печальный над горой, уставя вдаль очи. Куда из мира дальнего уводили его молодые сны? Незрима глубь сердец! В мечтаниях отрок своеволен как ветер в небе! И два таинства совершались в его душе: таинство земной любви к любимой деве и таинство любви небесной. И христианская любовь к ближнему, которая не позволяла Тазиту пролить ни единой капли крови, будь это даже кровь смертельного врага, разлучила его и с отцом, и с семьей, и с любимой девой... Среди людей, которые учили его ненавидеть и мстить друг другу, ему не было места. Он ушел в монастырь, чтобы затем стать мучеником веры...

В 1830 году, счастливый жених он писал:

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая наш божественный спаситель —
Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона (1830).

Пусть в заключительной строфе этого стихотворения поэт приравнял Наталию Николаевну к мадонне, — так поступали

ведь многие верующие художники Эпохи Возрождения — но в приведенных стихах звучит неподдельное молитвенное настроение.

Но и для мадонны небесной, вне всяких земных помыслов, нашлась тогда у Пушкина своя молитва — очень своеобразная. В ее честь сложил он „песню о рыцаре бедном, молчаливом и простом“. Она одна стала для него символом веры, любви и надежды, — как то случалось иногда с паладинами в далекие времена рыцарства и монашества.

Он на женщин не смотрел,
И до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.

И на грудь себе он четки
Вместо шарфа навязал;
Никогда стальной решетки
Он с лица не подымал.

Проводил он целы ночи
Пред иконой пресвятой;
Устремив к ней томны очи,
Тихо слезы лил рекой.

Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте
А. М. D. своею кровью
Начертал он на щите.

И в пустынях Палестины,
Между тем как по скалам
Мчались в битву паладины,
Именуя громко дам, —

Lumen coeli, sancta Rosa
Восклицал он, дик и рьян,
И, как гром, его угроза
Поражала мусульман.

Возвратясь в свой замок дальний
Жил он будто заключен,
Все влюбленный, все печальный.
Без причастья умер он...

СВОБОДОЛЮБИЕ

Александровское царствование было колыбелью нашей политической мысли. Конечно, эта мысль не отсутствовала в нашем сознании и раньше, но только в первые два столетия XIX века она из потаенной или случайной стала более или менее гласной и обыденной. В первую половину царствования император покровительствовал развивавшемуся политическому самосознанию своих подданных, во вторую половину он их карал за проявление этого сознания. В обоих случаях он способствовал его росту.

Пушкин в юности был ославлен как вольнодумец, либерал, чуть ли не возмутитель. И для такой аттестации были свои основания. Систематически над вопросами политики Пушкин никогда не думал, стать политическим деятелем не собирался, никаких программ и конституций не вырабатывал. В зрелые годы он иногда позволял себе осторожно высказываться по некоторым политическим вопросам (преимущественно по вопросу о роли дворянства), а в юности он был поэтом, влюбленным в „свободу“, эмоциональным вольнодумцем, иногда очень страшным на словах, а на деле всегда мирным, если не считать какой-нибудь выходки.

В 1825 году из Михайловского Пушкин написал Александру I прошение о выезде за границу. Прощение по адресу послано не было. В черновике письмо он в таких выражениях говорил о своем вольнодумстве, за которое попал в ссылку. „Мне было двадцать лет, писал он. Необдуманые слова, сатирические стихи... Ходил слух, что меня в тайной канцелярии высекли. Я последний узнал об этом слухе, распространенном по городу. Я увидел себя опозоренным... Я размышлял, не следует ли мне с собой пскончить или убить Ваше Величество. В первом случае я только подтвердил-бы позорящий меня слух, во втором я не совершил бы акта мщениия, потому что никакого оскорбления мне нанесено не было... Я просто совершил бы преступление. Я поделился моими мыслями с одним другом (Чаадаевым?), который посоветовал мне оправдаться перед властями. Я понимал, что это бесполезно. И я

решил в мои слова, устные и печатные, вложить как можно больше негодования и дерзости, чтобы заставить власть поступить со мной как с преступником. Мне хотелось попасть в Сибирь или в крепость, чтобы восстановить мою репутацию“...

В этом письме есть доля правды: чем больше в известных кругах Пушкина порицали за его вольнодумство, тем резче могли становиться его речи и глупая сплетня могла повышать темперамент. Но этот темперамент в вопросах свободолюбия и вольнодумства и сам по себе был достаточно силен.

В Лицее никакого определенного политического вольного духа не было, но царя-либерала любили, и он до 1818-года имел право на титул освободителя. Тем, чем был Лагарп для царя, мог быть там царь для лицеистов первого выпуска. Среди преподавателей были люди вольнодумные, за свое вольнодумство потом пострадавшие. Они не только были преподаватели, но и собеседники. В воспитателях числился родной брат знаменитого Марата. Щеголять таким родством он, быть может, и остерегался, но чтобы француз его круга мог убежаться от либеральной или даже радикальной фразеологии, это маловероятно. Римские классики со своей стороны твердили о том, что „свободной Рим возрос, а рабством погублен“. Читал Пушкин в Лицее, и Вольтера, и Руссо.

В военной кутящей компании, в которой Пушкин вращался по окончании Лицея, вольнодумные беседы также были в моде. Много могло быть в таких речах пустозвонства, но были и речи умные. Гусарский офицер Чаадаев был тогда близким другом Пушкина и остался им на всю жизнь.

В юные годы Пушкин любил Чаадаева какой-то институтской любовью. „Никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя“ (1821). Портрет Чаадаева был нужен Пушкину как талисман (1824); Чаадаеву завещал он свою чернильницу. Он называл Чаадаева „целителем его душевных сил“; говорил, что он „спас в нем чувства, поддержал его недремлющей рукой над бездной“. „Во глубину души вникая строгим взором, он оживлял ее укором или советом“. С Чаадаевым делился Пушкин вольнолюбивыми надеждами (1821). Имя Чаадаева вместе со своим хотел он начертать на обломках самовластия, когда взойдет заря пленительного счастья и Россия воспрянет ото

сна (1818) (принадлежность этих слов Пушкину оспаривается). И даже, когда в „сердце бурями смиренном была и лень и тишина“, Пушкин с вдохновенным умилением вспоминал о Чаадаеве и говорил, что в нем „живет душа Брута и Периклеса“. Беседы на политические темы велись, конечно, и в семейном кругу, и в кругу знакомых старшего поколения. Речи были, вероятно, совсем не либеральные — тем сильнее они горячили молодую голову. Быть на плохом счету у правительства и в свою очередь не любить его, считалось в молодом кругу „верной порукой за честь и ум“ (1821). Воспоминания о недавнем сменялись раздражением на настоящее. Пушкин писал эпиграммы на Аракчеева, на разных обскурантов александровского заката, на самого царя в выражениях необычайно резких и вызывающих. Не пощадил он и Карамзина, и сказал, что его история доказывает необходимость самовластия и прелести кнута... В театре Пушкин демонстративно показывал портрет убийцы герцога Беррийского (1820) и даже в мирных полушутливых письмах говорил о своей ненависти к „деспотизму“ (1819). Целой одой обрушился он на этот деспотизм. Это была знаменитая „Ода на вольность“ на которую его навел Радищев (1819).

„Ода“ в художественном отношении далеко не из лучших произведений Пушкина. В развитии своих мыслей она очень проста. Поэт видит торжествующую вокруг тиранию —

Увы! Куда ни брошу взор,
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Везде неволи грозный гений
И к славе роковая страсть.

Только там, где законы считаются со святой вольностью
не слышится людей стенанье.

Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира, трепещите!
А вы — мужайтесь и внемлите
Восстаньте, падшие рабы!

И Пушкин вспоминает как казнен был Людовик XVI „мученик ошибок славных“, и как изменившая себе вольность подпала под самовластие Наполеона... Гибель тирана радует поэта.

И еще один увенчанный злодей смертью заплатил за пренебрежение к вольности. Встает картина последнего часа русского Калигулы — императора Павла Петровича, к которому врываются янычары...

В „Оде“ нет революционной ярости, нет прямого призыва к убийству, но в ней беспощадное осуждение тирана, с холодной ссылкой на уроки истории. Стихотворение было понято, однако, не как историческая справка, и „либерал“ Пушкин, как выражался Карамзин, из столицы был выслан.

„День великий, неизбежный, яркий день свободы“ продолжал волновать воображение поэта. В семье Раевских, где Пушкин гостил в 1820 и 1821 году продолжались вольные разговоры. „Время мое, писал Пушкин, протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами“. Тон этих разговоров в Кишиневе, должно быть повысился, так как начальство не выпускало Пушкина из города „как зараженного какой-то либеральной чумой“. Это не мешало, однако, начальнику Пушкина генералу Инзову навещать поэта, когда он сидел под арестом, и беседовать с ним о гишпанской революции. Об итальянской Пушкин тогда тоже был осведомлен.

В Кишиневе Пушкин встречал лиц, разделявших с ним образ его мыслей, был членом масонской ложи, „за которую были уничтожены все ложи“, встречался с офицерами из южной армии, в политическом отношении очень неблагонадежной, познакомился с Пестелем, который произвел на него сильное впечатление...

Ссылка не излечивала от вольномыслия. — Хоть жилось, в общем, и свободно, и весело, но минутами „изгнанник“ — „жертва клеветы, измены и невежд“ — начинал сердиться на „гонителей“, на деспотизм и продолжал „горячить прекрасную мечту свободы, которой он сладостно дышал“.

В Кишиневе эти мечты были подогреты вспыхнувшей войной Греции за освобождение. Пушкин был очень увлечен этой войной — настолько, что в продолжении многих лет не забывал об ее годовщине. Он не сомневался в успехе этерии и был твердо уверен, что Греция восторжествует и 2.500.000 турок

оставят цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла.

Восстань, о Греция, восстань!
Недаром напрягаешь силы,
Недаром потрясает брань
Олимп, и Пинд и Фермопилы.

Под сенью ветхой их вершин
Свобода древняя возникла,
Святые мраморы Афин,
Гроба Тезея и Перикла,

Страна героев и богов,
Расторгни рабские вериги,
При пеньи пламенных стихов
Тиртея, Байрона и Риги! (1823).

Но в великодушных греках пришлось в конце концов разочароваться. „Константинопольские нищие, карманные воришки, бродяги без смелости, которые не могли выдержать первого огня даже плохих турецких стрелков“ — вот кто они! Что касается до офицеров, то они еще хуже солдат. „Мы видели этих новых Леонидов на улицах Одессы и Кишинева“, писал Пушкин. „Со многими из них были лично знакомы, и свидетельствуем теперь о их полном ничтожестве: ни малейшей идеи о военном искусстве, никакого понятия о чести, никакого энтузиазма... Я не варвар и не апостол Корана; дело Греции меня живо трогает, вот почему я негодную, видя что на долю этих ничтожных (*misérables*) выпала священная обязанность быть защитниками свободы“ (1823).

Когда Пушкину предложили воспеть смерть Байрона (1824), он ответил, что тема ему не по силам. „Греция мне огадила. О судьбе греков позволено рассуждать, как о судьбе моей братии негров. Можно тем и другим желать освобождения от рабства, но, чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией — это непростительное ребячество“. Сидя в Кишиневе и в Одессе нельзя было, конечно, составить себе правильного представления о греческом народе и суровые слова Пушкина не суждение наблюдателя, а отражение уже наступавшего успокоения в его свободолюбивом сердце. Действительно, в 1824 году начался, если не перелом в его вольномыслии, то медленный отлив боевого настроения.

Своего кульминационного пункта это настроение достигло в 1821—1822 годах, когда Пушкин спрашивал:

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Вы бури, вѣтры, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот!
Где ты, гроза? Символ свободы,
Промчись поверх невольных вод! (1822).

В эти годы было написано и стихотворение „Кинжал“ (1821) — прямой призыв к политическому убийству во имя свободы. „Кинжал“ — заключительные строфы к „Оде на вольность“. „Бессмертная Немезида“, „последний судия позора и обиды“ — Кинжал призывался как вершитель проклятий и надежд. Его лезвие блистало злодею в очи... Вставали тени убитого Цезаря, Марата и Коцебу и ореол славы покоился на главах Брута, Девы-Эвмениды—Кордэ и Занда (1821).

В тиши Михайловского (1824) Пушкин мог начать вспоминать о свободолюбии своей молодости.

Мало было лиц, которые пожалели об его участи, и Пушкин чувствовал свое одиночество,

Но не унизил в век изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной...

Когда Ф. Глинка прислал ему привет и отозвался на тот остракизм, которым безумная толпа поразила поэта, Пушкин возвел этого великодушного гражданина в Аристиды.

Но не одна „безумная толпа“ тогда осуждала Пушкина. Друзья, его любившие — Карамзин, Жуковский, Вяземский — не одобряли его либерализма. Во всей переписке Пушкина сохранилось только одно письмо, в котором говорится с симпатией об его свободолюбии. Это письмо С. Волконского, в котором он высказывает пожелание, чтобы Новгород и Псков вдохновили поэта (1824). Самые близкие корреспонденты давали Пушкину только предостережения. „Довольно ты сыграл шуток с правительством, писал Вяземский Пушкину, попробуй плыть по воде. Положим ты терпишь вместе с другими от всей

нашей эпохи, но оппозиция у нас дело бесплодное“. Жуковский также сердился, читал Пушкину наставления о лояльности и говорил: „пора уняться, ты бунтуешь как ребенок и сколько ты политического вреда нанес“! Эта фраза, написанная в 1826, после декабрьского восстания, могла очень больно ударить по сердцу поэта.

В Михайловском Пушкин поверил Вяземскому в том, что „оппозиция у нас дело бесплодное“, и свободолюбие поэта стало предметом его интимных размышлений. Он писал тогда „Бориса Годунова“ и, конечно, эта тема давала ему много поводов к намекам в недавнем стиле. „Жуковский говорит, писал Пушкин Вяземскому, что царь (Николай Павлович) меня простит за трагедию. Навряд, мой милый! Хотя она и в хорошем духе написана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юривого: торчат!“ Но как смирен был этот юродивый в сравнении с недавним Тиртеем!

В Михайловском было написано и стихотворение „Андре Шенье“ (1825). Оно наделало Пушкину не мало хлопот, так как в нем хотели отыскать какие-то намеки на 14-ое декабря, каковых не могло быть уже потому, что стихотворение было напечатано до декабрьских событий. „Суди об этом стихотворении как иезуит — по намерению“, писал Пушкин Жуковскому. Трудно разгадать теперь это намерение, но если забыть о нем и понять стихотворение просто, то оно наглядно передает интимную беседу Пушкина с самим собой на тему о своем свободолюбии.

Пушкин очень ценил Шенье как художника и как певца любви, свободы, мира и возвышенной мечты. И он вспомнил об его последних часах накануне казни. Перед выходом на эшафот поэт пропел свой последний гимн свободе. „Я славил твой небесный лик, мое светило“, говорил он. „Я славил твой священный гром, я зрел твоих сынов гражданскую отвагу; я слышал как пламенный трибун предрек, восторга полный, перерождение земли. О горе, о безумный сон! Где вольность и закон? Над нами единый властвует топор. Убийцу с палачами избрали мы в цари. О ужас! о позор! Но ты, богиня чистая, священная свобода, не виновна. В порывах буйной слепоты, в презренном бешенстве народа сокрылась ты от нас. Целебный твой сосуд завешен пеленой кровавой. Но ты придешь опять со мщением и славой. Народ, вкусивший раз твой

нектар, всегда будет томим жаждой“... Дело свободы не погибнет, как бы люди его ни позорили! — „Но куда меня, рожденного для любви, для мирных искушений, — куда меня завлек враждебный гений? Меня венчала Радость, муза чистая делила мой досуг. Зачем от жизни ленивой и простой, от шумных вечеров друзей, от вакхической тревоги, от свиданий с милой девой—я кинулся туда, где ужас роковой, где страсти дикие, где буйные невежды, и злоба, и корысть? Что делать было мне, мне верному любви, стихам и тишине, на низком поприще с презренными бойцами? Мне-ль было управлять строптивыми конями и круто напрягать бессильные бразды“?

Но поэт чувствовал себя правым. Пусть бессильны были его руки, но в помыслах и словах была незыблемая сила. „На палачей самодержавных твой стих звал Немезиду, ты пел Маратовым жрецам кинжал и Деву-Эвмениду“ :

Гордись, гордись, певец! А ты свирепый зверь,
Моей главой играй теперь:
Она в твоих когтях, но слушай, знай безбожный:
Мой крик, мой ярый смех преследует тебя!
Пей нашу кровь, живи, губя:
Ты все пигмей, пигмей ничтожный.
И час придет... и он уж недалек:
Падешь, тиран! Негодование
Воспрянет наконец. Отечества рыданье
Разбудит утомленный рок...

Сколько в этом стихотворении, и свободолюбивого пыла, и склонения пред неизбежностью!

Но гроза отшумела. Привет наступившей тишине!

Зачем ты, грозный аквилон,
Тростник болотный долу клонишь?
Зачем на дальний небосклон
Ты облака столь гневно гонишь?

Недавно черных туч грядой
Свод неба глухо облакался;
Недавно дуб над высотой
В красе надменной величался.

Но ты поднялся, ты взыграл,
Ты прошумел грозой и славой —
И бурны тучи разогнал,
И дуб низвергнул величавый.

Пускай же солнца ясный лик
Отныне радостно блистает,
И облаком зефир играет,
И тихо зыблется тростник (1824).

Свободолюбие Пушкину не простили... Вдова Карамзина, поздравляя его с женитьбой напоминала ему об его „бурной и мутной“ (*orageuse et sombre*) молодости... Теща также не стеснялась в намеках. Бенкендорф не упускал случая вспомнить о прошлом и не стеснялся даже выговором.

В дни кончины и похорон Пушкина полиция нашла нужным принять экстренные меры для ограждения порядка, которого никто, разумеется, не нарушал и нарушать не собирался. Чего-то боялись, когда назначили усиленную охрану мертвого тела и вывозили его ночью для погребения в Псковскую губернию. Сборы литераторов на улице тогда в моде не были, о манифестации, очень скромной, к которой некогда подала повод дуэль Чернова с Новосильцевым, давно забыли; бояться протеста народной толпы было нечего — народ и не подозревал того, что он имеет национального поэта... Но полиция была поставлена на ноги. Может быть хотели узнать, велико ли влияние опасного имени?.. Все обошлось спокойно, в полном порядке, и чтобы покончить свои счета с усопшим оставалось только поручить жандармской власти разобрать бумаги поэта — что и было сделано, правда в присутствии Жуковского. Осмотр бумаг не дал никаких поводов к беспокойству. Но цензоров тень Пушкина пугала еще лет двадцать после его кончины.

XI

Д Е М О Н

Поэзия Пушкина, взятая в целом, производит впечатление жизнерадостное. Печальная сторона жизни не обойдена, в изображении ее поэт глубокий психолог, но печаль бытия всегда уравновешена ее радостями, добро и зло даны в гармоническом сочетании, и потому поэзия Пушкина, как сама жизнь заставляет любить себя, примиряет, бодрит, розовых очков не вти-

рает, но и не чернит горизонта ума, и вожделий сердца в их порывах не останавливает.

До такой гармонии во взглядах на жизнь талант художника возвысился не сразу. Было несколько лет в жизни Пушкина, во внешнем своем течении веселых и порой даже счастливых, — когда его соблазнял „Демон“ отрицания и отговаривал благословлять бытие, впечатления которого были для него еще новы. Такое потемнение духа, когда мрачная сторона жизни вызывала более глубокие и острые переживания, чем сторона светлая, длилось очень недолго: душевное равновесие восстанавливалось быстро и затем уже более не нарушалось.

Мы знаем как Пушкин в юности умел быть веселым. Бывал он и печален. Когда по его юношеским стихам следишь за колебаниями в его настроениях, не должно, конечно, забывать, что имеешь дело с поэтом, с существом легко воспламеняющимся. Но за вспышками юного веселья и печали стояли всетаки реальные, хоть и не глубокие, переживания. Резкое чередование тонов мажорных и минорных — не было случайностью, если даже и предположить, что литературное чтение могло влиять на настроение художника.

Тоны мажорные нам знакомы. Прислушаемся к другим. Перед нами пока юноша и молодой человек лет двадцати.

Бешеные в своем весельи лицейские стихи пестрят очень грустными признаниями.

Нельзя жить вечным обманом и забывшись обнимать тень счастья! Вся жизнь моя — печальный мрак ненастья... Две, три весны младенцем, может быть, был я счастлив, не понимая, что такое счастье. В унылой жизни нет мне отрады тайных наслаждений. Ранний цвет надежд увял, цвет жизни сохнет. Невидимой стезей ушла пора веселости. Луч утренний скоротечной жизни надо мной бледнеет. Отверженный несправедливой судьбой, я забыл все, даже ласки муз. Надо мной — рука печали молчаливой; мне скучен мир, где темная стезя над бездной для меня лежала! К чему мне жить? Я не рожден для счастья, для дружбы, для забав. Я хладно пил из чаши сладострастия (1816-18)...

Вариаций на эти темы в лицейских стихах очень много. Конечно, это признания „чувствительного“ сердца и прежде всего отклик на прочитанное, но вместе с тем это — указание

на восприимчивость души к таким печальным настроением. В них говорит не книга только, но отчасти и сама природа. Пушкин сам подметил в себе эту склонность к туманам сердечным и умственным. „Часто я бываю подвержен так называемой хандре. В эти минуты я зол на целый свет и никакая поэзия не шевелит моего сердца“ (1822). „Я мнителен и хандрив“ (1830).

В лицейских жалобах на судьбу нет, однако, ни раздражения, ни желчи. Виновников своей печали поэт не разыскивает.

Прошло несколько лет и „хандра“ приобрела новый оттенок. На нее повлияла прежде всего общественная атмосфера. В конце царствования Александра Павловича в тех кругах, в которых Пушкин вращался, недовольных было не мало и „разочарованных“ также. Все „идеалисты“ могли быть разочарованы. Пушкин принадлежал к их числу. Он был тогда скептиком во многих вопросах, начиная с религиозного, критиковал и осуждал, а такая критика, да еще безрезультатная — критика для личного обихода — часто приводит к разочарованию и к пессимизму. Жизнь Пушкин вел веселую и мог пресытиться, и славой, и любовью и весельем. В душе должен был оставаться осадок недовольства, и собой, и людьми. Наконец, ссылка превратила его в „изгнанника“. Пользоваться всеми радостями жизни она не мешала, но в минуту хандры можно было почувствовать себя, и гонимым и обиженным. И, действительно, в продолжении трех лет (1821-1824) на Пушкина налетали эти настроения, при которых сердиться, и на мир и на людей, и на себя, и не всегда понимаешь, в чем причина этого гнева; и опять кажется, что во всем разочаровался. А если в эти минуты попадает в руки книга, в которой такое состояние духа воплощено в живых образах и до известной степени истолковано глубоким анализом психических переживаний, — то легко, конечно, на короткий срок, себя самого признать близким родственником того героя, который пленил воображение. Так случилось на юге с Пушкиным, когда он развернул сочинения Байрона. Он так ими увлекся, что даже тишайшего Дельвига стал убеждать настроить свою лиру на мрачный богатырский, байронический лад.

На внешней жизни поэта эти печальные душевные переживания совсем не отразились и едва ли кто-нибудь знавший

его в те веселые годы, мог заподозрить в нем разочарованного и желчного человека. Но внутри, в тайниках сердца, развивался этот болезненный процесс недовольства собой и всем окружающим, усталости от страстей и обесценения жизни.

Пушкин писал тогда:

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты!
Остались мне одни страданья
Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец;
Живу печальный одинокий,
И жду: придет ли мой конец!
Так, поздним кладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист (1821).

И поэма, из которой это стихотворение было выделено, подтверждает его искренность. Поэма „Кавказский Пленник“ был попыткой разобраться в своей отуманненной душе, Описание кавказской природы удалась вполне, типичны были профили и эскизы из жизни горцев, черкесская песня облетела всю Россию и у всех осталась в памяти; воздушный, романтический облик влюбленной черкешенки был очень трогателен и для русского читателя имел всю прелесть новизны. Все детали были вырисованы вполне зрелым мастером, но характеристика героя осталась туманной и психологическая мотивировка не поясняла состояние его духа. Критика отметила этот недостаток. Пушкин с ней согласился; сделал слабую попытку кое в чем оправдаться, но не привел в свою защиту главного аргумента. Он недостаточно настаивал на том, что эта поэма есть его личное признание, а вовсе не характеристика какого-то пленника. „Недостатки этой поэмы так ясны, писал Пушкин, что я долго не мог решиться ее напечатать. Кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в каких-то несчастьях, неизвестных читателю. Отеческая нежность не остепляет меня насчет „Кавказского Пленника“, но, признаюсь, люблю его, сам не зная за что: в нем есть стихи моего сердца“. Что поэма была признанием, это

отмечено и в ее посвящении. В ней — воспоминания пережитого самим Пушкиным, противоречия изведанных им страстей, тайный голос его души... „Он рано скорбь узнал, постигнут был гонением, был жертвой клеветы, измены и невежд, но он не унывал и, укрепив сердце свободой и терпением, ждал беспечно лучших дней“. И это правда. Пушкин не унывал, надежда его не покинула и потому образ разочарованного героя и вышел таким бледным. Поэт не знал, что такое настоящее разочарование, убивающее волю к жизни. Оно было ему всегда чуждо. Но закрепить в художественном образе переживаемый пароксизм разочарования — хотелось. Он налетел на поэта еще в 1820 году, когда плывя по черному морю Пушкин, обращаясь к угрюмому океану, говорил:

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала...

Когда пришлось говорить в поэме не о себе, а о каком-то пленнике, то пояснить его душу можно было только туманными намеками... Избалованный молодой человек... бурной жизнью погубивший радость, надежду и желанье... с увядшим сердцем... познавший истинную цену жизни, т. е. презирающий жизнь за какие-то измены и безумные сны... вдруг полетевший на Кавказ за веселым призраком свободы и пытающийся отнять эту свободу у свободного племени...

В глубине молчания таил этот странный человек движения своего сердца. Пушкин мог бы нарушить это молчание, если бы решился заговорить о себе, хотя и в этом случае полной ясности бы не получилось. Когда пленнику пришлось, как позднее Онегину, отвечать отказом на любовь, он заговорил языком красивым, но опять таки совсем не ясным. Пушкин

и в данном случае мог бы помочь ему, если бы вложил в его уста одну из своих элегий:

Мой друг, забыты мной следы минувших лет
И младости моей мятежное течение.
Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
 Что было мне дано в печаль и в наслажденье,
Что я любил, что изменило мне...
Пускай я радости вкушаю не вполне:
Но ты, невинная, ты рождена для счастья,
Беспечно верь ему, летучий миг лови:
Душа твоя жива для дружбы, для любви,
 Для поцелуев сладострастья;
Душа твоя чиста: унынье чуждо ей,
Светла как ясный день, младенческая совесть;
К чему тебе внимать безумства и страстей
 Незанимательную повесть?
Она твой тихий ум невольно возмутит;
Ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься;
Доверчивой душе беспечность улетит,
И ты моей любви, быть может, ужаснешься,
Быть может навсегда... Нет милая моя,
Лишиться я боюсь последних наслаждений;
Не требуй от меня опасных откровений:
Сегодня я люблю, сегодня счастлив я (1821).

Но пленник говорил с черкесской дево́й мало понятными намеками. Одно было ясно из его слов — что он окаменел для нежных чувств и любит другую. И это, кажется, была правда. Только влюблен был не пленник, а Пушкин. Если же это было так, то было еще одно основание для Пушкина не понять истинно разочарованного человека.

Но в поэме правда души поэта искажена не была. Пушкин, действительно, испытывал тогда наплыв каких-то мрачных дум, сердечного холода и чувств близких к злобе. В черновых набросках 1822 года находятся такие строфы:

Свою печать утратил резвый нрав,
Душа час от часу немеет,
В ней чувства нет. Так легкий лист дубрав
В ключах кавказских каменеет.
И свѣт, и дружбу и любовь
В их наготе отныне вижу.
Но все прошло! Остыла в сердце кровь,
Угрюмый опыт ненавижу...

„О людях, которых ты не знаешь, писал Пушкин брату в эти же годы (1823), думай всегда как можно хуже. Не во многом ошибешься. Презирай их с соблюдением возможного приличия. Это охранит тебя от мелких предрасудков и мелких страстей. Будь холоден со всеми. Берегись быть предупредительным и благорасположенным к людям — твое отношение будет истолковано криво. Не одоляйся никем — одолжение в большинстве случаев коварство. О соблазнах дружбы я тебя не предупреждаю; не хочу душу твою сделать уж такой черствой. В отношении женщин прими за правило, чем меньше мы ее любим, тем вернее наша победа над ней. Никогда не забывай добровольно нанесенную обиду. Этими правилами, взглядами, которые я тебе предлагаю усвоить, я обязан личному болезненному опыту“.

Сам Пушкин в жизни этим правилам не следовал, даже и в то время, когда их проповедывал. Но они вполне на своем месте в устах „разочарованного“ героя. И Пушкин, поучая брата, ни в какой плащ не драпировался.

Какой-то „демон“ владел им в минуты и часы, когда непонятный туман ложился на его душу.

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья;
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь,
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапно осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою
Он вдохновенье презирал;

Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел... (1823).

Один из молодых философов тех годов, кн. В. Ф. Одоевский, писал по поводу этого стихотворения: „С каким сумрачным наслаждением читал я произведение, где поэт России так живо олицетворял те непонятные чувствования, которые холодят нашу душу посреди восторгов самых пламенных! Глубоко проникнул он в сокровищницу сердца человеческого, из нее похитил ткани, неприкосновенные для простолюдина, какими облек он своего таинственного Демона“...

Е. Н. Раевская — предмет воздыханий Пушкина в эти годы — рассказывала, что поводом к сочинению этого стихотворения была шутка, которую съ Пушкиным сыграли в ее семье. Ее брат, взгляды которого оказывали тогда на Пушкина некоторое влияние, вздумал подтрунить над ним и стал корчить собой ничем не довольного, разочарованного, над всем глумящегося человека. Пушкин поддался искусной мистификации и написал „Демона“. Раевский долго оставлял его в заблуждении, но потом признался в своей шутке и после они часто и много смѣялись, перечитывая вместе это стихотворение. Если старушке не изменила ее память, то для истории возникновения этого замечательного стихотворения ее рассказ имеет большую цену. Но он нисколько не низводит само стихотворение на степень шутки. Колоссальная сила этих строф показывает, как душа „Демона“ была тогда сродни душе самого Пушкина. А что поэт потом, когда сердце его освободилось от демонических чувств, мог с улыбкой перечитывать свое стихотворение — в этом нет ничего удивительного. Сам Пушкин, когда о „Демоне“ пошли толки в печати, хотел выступить анонимно с объяснениями. Но по поводу этого, как он сам выражался „странного“ стихотворения, он писал: „Не хотел ли поэт олицетворить сомнение? Въ лучшее время жизни сердце, не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нѣжно. Мало по малу вечные противоречия сущности рождают в нем сомнения — чувство мучительное, но не продолжительное... Оно исчезает, уничтожив наши лучшие и поэтические предразсудки души...“

Недаром великий Гете называл вечного врага человечества — духом отрицающим“... И Пушкин не хотел-ли в своем „Демоне“ олицетворить сей дух отрицания или сомнения и начертать в приятной картине печальное влияние его на нравственность нашего века? Разумному человеку надлежит проходить через такие полосы сомнения и отрицания... И оне, как поэт заметил, бывают кратковременны — не для всех, конечно. Пушкин со своим Демоном расстался скоро. Но прежде чем им проститься, дух сомнения навел Пушкина на одну, всеми демонами тех лет облюбованную мысль. Он стал уговаривать Пушкина свалить свою вину за его личное скверное и гнетущее расположение духа на общество, на весь уклад его культурной жизни, на всю современную цивилизацию.

Эту мысль проводил тогда (1823) и Онегин, который людей „не любил, не находил большой нужды управлять кормилом их мнений“; слова „добро“, „закон“, „любовь к отечеству“, „права“ считал словами условными, признавал лишь закон необходимости и ни для кого не отдал бы и „миг своего покоя“. Пушкин не дал Онегину развить эти мысли и сам стал разъяснять их в „Цыганах“ (1824).

Несколько подкрашенная бытовая картинка из цыганской жизни закончилась кровавой расправой эгоиста с вольными людьми и его изгнанием из среды вольного народа. Сначала Алеко, как и Пленник, уныло глядел на равнину и не мог истолковать себе своей тайной грусти; потом оказалось, что этот „поклонник воли лишь для себя“ — был сознательным врагом города и цивилизации. Неволя душных городов его томила, он не хотел сидеть за оградой, стыдиться любви и гнать от себя свои мысли; он не хотел торговать своей волей и просить цепей и денег. „Дитя любви, дитя природы, говорил он своему новорожденному ребенку, прими с даром жизни неоцененный дар свободы! Остайся посреди степей! Здесь безмолвны предразсуждения. Рости на воле, без уроков! Не знай стеснительных палат; на образованный разврат не меняй простых пороков. Не знай, ни нег, ни пресыщений, ни пышной суеты наук. Не будешь ты тогда ведать ложных нужд; будешь доволен своим жребием и чужд напрасных угрызений. Перед идолами безумной чести не будешь преклонять колен и тайная жажда мести не будет тебя мучить“...

О „Цыганах“ много было толков, и Пушкину, как он сам признавался, эти разговоры надоели — вполне понятно почему. Психология разочарованных, озлобленных, мрачных героев — себялюбцев переставала волновать Пушкина. Она к 1824 году была уже пройденным этапом его жизни. Гнева на Петербург в душе уже не было; ссылка — жизнь среди некультурных народов — тяготила. Никакая Земфира не могла заставить забыть о столице; повторение старых, старых слов о развратной цивилизации не могло быть выражением живой выстраданной мысли. Можно было с благодарностью вспомнить о цыганском таборе, который на мгновение прельстил поэта своей простотой и свободой — и Пушкин не жалел похвал, когда говорил об этом вольном народе. Но возмутителя души этого народа и нарушителя его покоя должно было осудить не жалея... И Пушкин не пожалел Алеко. И казнил он в нем своего Демона, который испортил ему столько крови, напустил столько тумана, и его, любящего во всем ясность, заставил говорить о смутных ощущениях и переживаниях, в которых он не смог разобраться...

Ясность мыслей и чувств мало по малу возвращалась. По приезде в Михайловское, бодро и весело приветствовал Пушкин такое душевное успокоение:

Если жизнь тебя обманет, —
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло;
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило (1825).

Последней вспышкой смутного сердечного волнения была „Сцена из Фауста“ (1826), которая будто-бы служила ответом Пушкина на предложение его московских друзей — как-нибудь дать знать Гете, что и в Россия есть поэты, которые считают его своим наставником.

Дополнять трагедию Гете или истолковывать ее смысл Пушкин, конечно, в виду не имел, так как понимал, что „скука“, какой он наградил своего Фауста имеет мало что общего с

вечным стремлением Фауста Гете. Пушкин — как он писал в одном частном письме — думал, что скука есть „принадлежность мыслящего существа“. После всего, что пришлось пережить на юге и в Михайловском, Пушкин, действительно, познал поэзию скуки, если так можно выразиться. И вот надо было как-нибудь развлечь нового Фауста. Бес стал смущать Пушкина, доказывая ему, что и в Лицее и на юге он в сущности — скучал, что и в любовном угаре он был несвободен от раз'едающей рефлексии, любил соблазнять, и не наслаждался, а после наслаждения переставал любить... Бес повторил все те обвинения, которыми в мрачную минуту поэт сам себя мучил. И Пушкин, рассердясь, прогнал беса, не желая слушать речи, которые ему уже надоели. Но, чтобы выразить свое недовольство окружающим, чтобы не показаться бесу добродушно примиренным и малодушно спокойным, поэт вспомнил, как он не так давно громил хваленую культуру и приказал бесу немедленно потопить какой-то корабль, который приставал к берегу и вез для нужд цивилизации — сотни три мерзавцев, две обезьяны, бочки золота и шоколада, и модную болезнь...

„Фауста“ Гете Пушкин высоко ценил, но не потому, что тип Фауста был душе его близок. В душе Пушкина не было ни титанизма, ни богоборчества, ни сверхчеловечества Фауста, как не было и неотступного сомнения в нравственной силе своего духа и в нравственном смысле своего миропорядка, сомнения, которое погубило Гамлета. В сочинениях Пушкина имя Гамлета, кажется, ни разу не упоминается. Для русского писателя — даже того времени — умолчание характерное.

Расставшись со всеми демонами, Пушкин, конечно не на всегда оградил себя от их посещений. Налетали минуты, и сомнений, и уныния, но ясного взгляда на жизнь оне не туманили. Присутствие ангела в этой жизни давало себя чувствовать несравненно чаще и явственнее.

Иногда казалось, что холодный ключ забвения утолит жар сердца слаще всех ключей (1827). Жизнь казалась даром случайным и напрасным; цели не было видно, сердце было пусто и ум празден (1828). Шум улицы, веселая молодежь, многолюдный храм, и уединенный дуб, и младенец — все наводило на мысль о смерти (1829). И так не хотелось умирать! Хоть путь жизни и казался унылым и волнующееся море гря-

дущего сулило лишь труд и горе, хоть печаль с годами и становилась сильней, и безумных лет угасшее веселье было тяжело, как смутное похмелье... все же хотелось жить, чтобы мыслить и страдать, и верилось,

Что будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья;
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь
И, может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной (1830).

Но сомнения налетали снова и поэт готов был от своего разума отказаться, лишь бы только его не заперли в сумасшедший дом, а оставили на свободе, но не среди людей, а на лоне природы (1833).

Грозы надвигались и уходили. Оне для сердца и ума не были губительны, скорее благотворны... Разочарования, сомнения, даже гнев на себя и на людей, все отрицания в конце концов приводили к утверждению любви к жизни:

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облегла,
И молния грозно тебя обвивала,
И ты издавала таинственный гром,
И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! — Пора миновалась,
Земля освежилась и буря промчалась
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес (1835).

И Демон при встрече с ангелом признавал себя побежденным:

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал,
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

„Прости“, — он рек, — „тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не все я в мире ненавидел,
Не все я в мире презирал“ (1827).

ХII

РАЗБОЙНИК

Был один литературный тип, к обрисовке которого Пушкин в разные годы своей жизни, возвращался охотно. Это был тип разбойника — и мелкого, и в особенности широкого полета. Много было оснований к тому, чтобы таким типом заинтересоваться. С конца XVIII века он был довольно широко распространен в западной литературе, и Пушкин мог встречаться с ним в ранней юности. Разбойник появлялся часто и в народных сказках, которые Пушкин любил слушать. В годы ссылки этот тип стал ему особенно дорог, как выразитель особой формы протеста личности против уклада жизни; разбойник играл также видную роль в летописях истории войн за освобождение в Греции и у южных славян. Наконец и в нашей русской жизни два разбойника явились организаторами первых народных восстаний. Таким образом и литературная традиция, и народное творчество, и исторические события, и политическая мысль останавливали внимание поэта на этом типе. Наконец и личная психика поэта имела свое влияние. Поклонник смелости и удали, каким был поэт, не мог не откликнуться на резкое проявление воли человека, как не мог не откликнуться и на стеснение этой воли и на ее плен, неизбежный во всяком общежитии,

Особенно сильны были все эти ощущения в душе поэта в годы его ссылки, в годы „свободолюбия“, увлечения войной за свободу, в годы тех „демонических“ туманов, которые его облегли.

Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормленный на воле орел молодой;
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: „Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора,
Туда где за тучей белеет гора,
Туда где синеют морские края,
Туда, где гуляем... лишь ветер да я“ (1822).

В 1821 году Пушкин задумал написать большую поэму под впечатлением истинного происшествия, о котором он слышал. Два разбойника, прикованные друг к другу, переплыли Днепр и потопили одного из преследовавших их конвойных. Действие поэмы должно было разыграться на Волге и завязка рассказа была любовная. От этой поэмы остался лишь отрывок, известный под заглавием „Братья Разбойники“ (1821-1822). „Разбойников я сжег, говорил Пушкин, и поделом“. Романтическая завязка была слишком условна, а герой и его компания, если судить по отрывку, в герои не годились. В них ничего героического не было, а было только кровожадное. Донской казак, еврей, калмык, башкирец, рыжий финн и цыган — связанные узами опасности, крови, разврата и обмана едва ли могли вдохновить поэта. Разбойник, которого Пушкин замешал в эту компанию, ничем от нее не отличался. Нужда и горе, которые он узнал в детстве, вряд ли извиняли его решение „отогнав прочь совесть“, взять булатный нож себе в товарищи. Резал он, и богатых, и бедных и жил в свое удовольствие, пока не попал в острог. Единственным живым чувством в его душе была любовь к брату, который на его руках в остроге умер. Такого героя нельзя было спасти никакими романтическими эпизодами и стилистическими красотами. Рассказ о нем можно было сжечь.

Вымышленного разбойника сменил разбойник исторический — участник в войне греков за освобождение — молдованин Кирджали. Этот грабитель и головорез имел за собой хоть ту заслугу, что был участником войны за свободу. Пушкин слышал о нем от своих кишиневских знакомых, и много лет спустя (1834), написал краткий рассказ об его удали, закончив его возгласом: „Каков Кирджали“? Это были годы, когда Пушкин перекладывал в стихи Песни западных славян (1832-1833), где разбойничьи типы попадались часто.

С 1824 года Пушкин стал собирать песни и матерьялы из жизни Стеньки Разина. И собирал их много лет. Он считал Разина почему-то „единственным поэтическим лицом русской истории“ (1824), разыскивал книги об его восстании (1833), записывал песни о нем и вообще о поволжских разбойниках, переводил некоторые из них на французский язык и сам сочинял такие песни, подделываясь под народный лад. Пушкин хотел напечатать эти песни, но разрешения не получил. Однако, Онегина, который тогда катался по Волге, он заставил их прослушать. Интерес к личности Разина, говорят, был в Пушкине пробужден его беседами с Н. Раевским, который задумал тогда написать историю Разинского бунта. Что Пушкин намеревался сделать с собранными им матерьялами — неизвестно, но собирал он их, конечно, не без плана. Это было подготовительная работа к истории Пугачевского бунта, о которой Пушкин пока не думал. Разбой Разина были страницей из социальной истории России; — народным восстанием, о котором „либерал“ Пушкин, а затем и Пушкин публицист и историк, не мог не думать. Начинало мало по малу обрисовываться идейная сторона в типе разбойника. В конце концов Пугачев затмил Разина.

В Михайловском Пушкин о разбойниках не забыл. Он пересказал в стихах разбойничью сказку „о женихе“ (1825), и когда работал над „Борисом Годуновым“, то в лице Самозванца имел дело тоже с разбойником, правда, благовоспитанным и в известной степени культурным. Пришлось опять удивляться удали смельчака и, конечно, Пушкин, если бы захотел, то мог отнести к Самозванцу далеко не так корректно, как он отнесся.

В 1832—33 году был написан „Дубровский“ — романтическая повесть, искусно переплетенная с чисто бытовыми рассказами из жизни помещиков того времени. Контраст двух усадеб и двух их владельцев, дворян, Мария Кирилловна, — которая совсем как Татьяна говорит Дубровскому: „прикажите освободить моего мужа и оставьте меня с ним, я дала ему клятву“ — типы провинциальных чиновников и вся бытовая обстановка, — придают историческую ценность этому рассказу об удали разбойника. И разбойник этот — мститель за попранную правду вообще, а не мститель за личную обиду, так

как иначе он с Троекуровым расправился бы очень быстро. Он — освободитель угнетенных, своего рода крестьянский вождь, защитник их от навязанного им барина, атаман, как Карл Моор, благородный и великодушный. Нападал он не на всякого, но лишь на известных богачей, не грабил до чиста и никогда никого не убивал. Убивать ему пришлось только тогда, когда солдаты стали штурмовать его берлогу. После этого убийства он навсегда покинул своих сообщников, предупредив их, чтобы они себя с ним не сравнивали. Он советовал им переменить образ жизни. „Вы разбогатели под моим начальством, говорил он, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно можно пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло“. Дубровский был Немезидой, мстящей за весь порядок, при котором появление таких атаманов было возможно.

К тому времени когда Пушкин кончал эту повесть, мысль написать историю Пугачева в его голове уже созрела, и он поспешно стал собирать матерьялы. Одновременно с историей Пугачева была написана и „Капитанская Дочка“ (1833—1834).

Пугачев, каким он является в этой повести, обрисован в строго реальных тонах, с устранением всякого романтического элемента. Социальные причины, обусловившие успех Пугачева в рассказе намечены, насколько, конечно, это позволяли цензурные условия. Нелюбовь Пушкина к крови и ужасному заставила его быть кратким во многих случаях, где он мог бы дать волю своему воображению. За героем была оставлена вся его жестокость и зверство, но рассказчик, где мог, давал понять, что индивидуальная воля вождя была в большой зависимости от стихийной воли массы. Злобная душа разбойника допускала чувство милосердия и вымышленный герой повести признавался, что он не мог раз'яснить себе того, что он чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного его. „Зачем не сказать истины? спрашивал рассказчик. В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к Пугачеву. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал и спасти его голову пока еще было время“.

Пугачев не признавал себя рядовым разбойником. „Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. При первой неудаче, они свою шею выкупят моею головою... Поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал...

„Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: „скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего навсего только тридцать три года“? — „Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной“. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели, орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: „нет брат ворон — чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью; а там, что бог даст“...

Так, всю свою жизнь, не случайно, любил Пушкин встречаться с разбойником. Он нравился ему как вызов, брошенный житейской мертвечине и всяким утеснениям, какие люди чинят друг другу; он заставлял его думать над вечной проблемой любви к свободе, которая в своем пылу доходит до самоотрицания, подавляя свободу ближнего, он наводил его на раздумье над судьбами родины, жизнь которой движется, управляемая двумя силами без посредников — активной силой самодержавной власти и пассивной силой стихии невежественной и угнетенной. О многом мог Пушкин думать, когда избирал разбойника в собеседники...

Мог думать и о себе...

Иногда так хотелось воли! И так сердили всякие оковы!
Терек играл в свирепом веселье:...

Играет и воеет как зверь молодой
Завидевший пищу из клетки железной.
И бьется о берег в вражде бесполезной,
И лижет утесы голодной волной...
Вотще! Нет ни пищи ему, ни отрады!
Теснят его грозно немые громады (1829).

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Плана, который предшествовал бы созданию „Евгения Онегина“ не существовало; по крайней мере, он до нас не дошел. Пушкин работал над романом в продолжении семи лет (1823-1830), работал урывками, печатал его отдельными главами и, выпуская в свет каждую главу, не брал на себя обязательства давать продолжение. Он сочинял фабулу по мере того как печатал отдельные ее эпизоды.

„Я теперь пишу роман в стихах, в роде „Дон Жуана“. Пишу его с упоением, что уже давно со мной не бывало. О печати и думать нельзя. Цензура наша так своенравна, что с нею невозможно и измерить круга своего действия... Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь до нельзя... и захлебываюсь желчью“. Так писал Пушкин друзьям в 1823 году, извещая их о том, что он приступил к работе. Прошло около года; работа очевидно подвинулась и разлившаяся в ней „желчь“ продолжала отнимать всякую надежду на печатанье. „О моей поэме нечего и думать. Если когда-нибудь она и будет напечатана, то верно не в Москве и не в Петербурге... „Онегина“ нельзя печатать: все заклеено печатью отвержения (1824)“.

Очевидно, на юге, в ссылке, после ознакомления с сатирами Байрона, Пушкину пришла мысль испробовать свой талант сатирика в широких размерах, на этот раз не в эпиграмме, не в послании, а в целой поэме.

Может быть он и начал писать такую поэму, в которой он захлебывался желчью и где, как он выразился в одном письме тех годов, „имелся и цинизм“, но о такой поэме нам ничего не известно. Когда первая и вторая песня „Евгения Онегина“ была представлена в цензуру (1825 и 1826), цензуре не к чему было придираться и Пушкину жаловаться на цензора не пришлось. Бросил ли Пушкин первоначальный замысел своей „сатирической“ поэмы или вычистил первоначальный текст — неизвестно. В черновых рукописях нецензурного также ничего не нашлось. Сатира преобразилась в бытовой рассказ из жизни молодого светского человека и в бытовую идиллию из жизни скромной усадьбы. Только многочисленные отступ-

ления, лирические места, остроумные колкие сентенции и эпиграммы, в сущности безобидные, говорили о том, что автор умел при желании быть сатириком.

По отделке и цельности характеристики героя можно было видеть, что автор сам не чужд многих его настроений и мыслей. Много личных воспоминаний было вкраплено в рассказ, но никаких резкостей, никаких выпадов, ни намека на какую-нибудь политическую или общественную тенденцию. Свою личность художник старался насколько возможно затушевать, но это ему не удалось; он слишком часто прерывал рассказ, чтобы начать говорить о себе. Неудивительно, что Онегина стали отождествлять с автором. Это могло сердить Пушкина. Но сам он признал, что некоторые черты характера героя ему нравились. Нравилась ему в нем невольная преданность мечтам, оригинальность, скептицизм, испытанность в страстях, легкое утомление жизнью, ослабление жара сердца и отсутствие доверия к людям. Не сам ли Пушкин сказал тогда, что тот, кто жил и мыслил, не может не презирать людей? Не он ли в письме к брату повторял афоризмы Ларошфуко? И наконец, мы знаем, он на юге, в годы ссылки, когда роман был задуман, мог и про себя сказать, что он в страстях испытан, утомлен жизнью, чувствует ослабление жара сердца и разочарован.

Но Пушкин вовсе не собирался писать автопортрет. Не желал он также писать и копии, хотя бы с очень хорошего и всеми прославленного оригинала.

Он присматривался к самой жизни, жизни русской и в ней нашел он тип, который заинтересовал его, и как художника, и как человека, находящегося в полосе известного настроения.

Люди типа Онегина попадались в обществе тех годов довольно часто. В изящной словесности они кроме Онегина яркого следа не оставили. Они были в России представителями иностранной разочарованности, как известно, очень распространенной на Западе с конца XVIII века до тридцатых годов XIX-го. На Западе эта разочарованность коренилась в очень глубоких и мучительных душевных переживаниях. У нас в России она, конечно, таких глубоких корней не имела. Но все-таки, и в России, в конце царствования Александра Павловича, условия общественной жизни делали возможным по-

явление в светских кругах людей недовольных, оторванных от русской почвы, не находящих применения своим силам и потому разочарованных. Рост этого типа наша историческая наука проследила со времен Петра и показала, как в продолжении целого столетия в нашем обществе росли и сменялись личности, которые были предрасположены к восприятию скептического, разочарованного и безрадостного мирозерцания. Западная литература начала XIX-го века давала таким личностям обширный готовый лексикон слов, выражений, драматических завязок и поз. Представители русского разочарования этим лексиконом охотно пользовались. Онегин был среди них типом мало идейным и несложным. Пушкин заинтересовался им почему-то и, не думая о том, как рассказ начнет разворачиваться, дал в первой же главе романа характеристику героя. Она ему так понравилась, что он решил ее напечатать. И затем, во всех остальных главах романа, Пушкин должен был со своим малозанятым героем считаться. Пушкин познакомил нас со своим приятелем, аттестовав его сразу как разочарованного и скучающего молодого человека. Мотивировать идейно разочарование Онегина поэт не пожелал. Он поступил с ним как Байрон с Чайльд-Гарольдом — просто, без всяких справок, без указания на источники душевного недомогания, отрекомендовал его как угрюмого и томного посетителя светских салонов и театров. Героем романа оказался молодой человек, никогда ни о чем серьезно не думавший, никакому делу не причастный и к тому же пресыщенный светскими развлечениями.

Приступая к дальнейшему рассказу Пушкин должен был начать измышлять фабулу, так как в первой главе романа никакой завязки не было, а писать роман, как говорится, без „интриги“ — было невозможно. Впрочем, Пушкин мог утешить себя тем, что и Байрон, когда сочинял „Дон Жуана“, оканчивая одну песнь, не знал, о чем он будет рассказывать в следующей.

Оставлять Онегина в столице было бесполезно. Все доступные наслаждения были изведаны; главная приманка молодой жизни — любовь — потеряла свою прелесть; ничто идейное не интересовало героя; книги — а Онегин читал их усердно — надоели; обеспеченное положение избавляло от труда; честолюбия не было никакого. В таком положении герои западных

романов отправлялись обыкновенно путешествовать, и, вероятно, Пушкин тоже отправил бы своего друга за границу, если бы он сам побывал там. Они впрочем мечтали о путешествии, и в частности об Италии. Но уехать за границу не пришлось. Можно было бы, конечно, съездить в Крым или на Кавказ, но поэт, очевидно, не хотел иметь Онегина своим спутником в этих именно местах, с которыми у него было связано столько дорогих воспоминаний и поэтических грез, наслаждение которыми его приятель мог испортить своим сплином или оскорбить своим злоречием. Пушкин отправил Онегина в деревню, хотя знал, что через два, три дня он там заскучает.

Поселив своего приятеля в деревне, в пустом барском доме, где ему приходилось жить одному, даже без няни, Пушкин должен был озаботиться предоставлением ему хоть какого-нибудь развлечения, кроме езды верхом, ванны, катания шаров на бильярде и чтения (к писанию Евгений не имел склонности). Онегин мог, положим, из деревни в любой момент уехать, так как сослан в нее не был, но случилось так, что он остался в деревне на зиму. Скука грозила ему нестерпимая, если бы он продолжал держаться правила, которого в начале держался, а именно — избегать знакомства с соседями. Пришлось завязать такие знакомства, и Пушкин был озадачен выбором подходящего собеседника. Старожилы-помещики окружающих усадеб для Онегина никакого интереса не представляли. Если уж надлежало иметь доброго знакомого и друга, то пришлось бы такого выписывать из столицы. Но это значило бы до известной степени повторять старую обстановку, и Пушкин выписал из заграницы Ленского. Поэт помнил, что и на Западе разочарованным людям полагалось иметь друзей, которые слушали бы их сердечные излияния. Такие друзья разочарованных героев не должны были ни в чем походить на них. На Западе это было обыкновенно либо умудренные жизнью старцы, либо люди вообще положительные и бестрастные, готовые утешить, наставить, поддержать нравственно и при случае даже помочь найти счастье и примирить человека с жизнью. Пушкин не желал подражать западным образцам и удержал только основной контраст между характерами героя и его друга. Создать образ Ленского труда не составляло.

Стоило взять за оригинал любого сентименталиста из ближайшего или современного поколения, заставить его повторить старые мотивы поэзии Жуковского, придать ему восторженность и увлечение Шиллером и Гете — вспоминая о некоторых лицейских товарищах — и приписать ему любовь к немецкой философской науке, которую в Лицее насаждал Галич. Конечно, Ленского надо было заставить влюбиться, чтобы контраст между ним и Онегиным получился еще более яркий. Казалось, что Ленский мог внести некоторую струю тепла в холодную душу своего приятеля, напомнить ему о прежних годах надежд и желаний. Но Онегин остался холоден и принес друга в жертву светскому предрассудку. Нелепая и случайная смерть Ленского была нужна. Пушкин вспомнил, что на Западе совесть разочарованных героев должна была быть беспокойной, что какому-то преступлению полагалось тяготить их душу. Такие преступления носили обыкновенно характер таинственный и мрачный. Подражать западным образцам Пушкин опять не пожелал, но сохранил основное драматическое положение. Онегин бежал из усадьбы с беспокойной совестью, унося тяжелые воспоминания. Смерти Ленского требовал и самый ход рассказа. Онегин, застрявший в усадьбе помещик, шафер Ленского и крестный отец его детей, и Ленский счастливый „рогатый“ муж — в герои не годились. Надо было заставить Онегина как-нибудь неожиданно, по своему, перевернуть эту страницу его жизни и дуэль помогла ему в этом. И Онегин должен был выстрелить первым, потому что, если бы Ленский стрелял первым и дал промах (а стрелок он был, конечно, скверный), то Онегин выстрелил бы в воздух и поставил бы Пушкина в затруднение — как планировать рассказ дальше.

Писать роман без любви вообще не принято, а в таком не сатирическом, но психологическом романе как „Онегин“, любовная завязка и развязка были необходимы. Задача была трудная, если начать придумывать какое-нибудь не обычное положение. И опять Пушкин вспомнил, что любовь разочарованного героя на Западе должна была стать источником страданий и мучений для тех женщин, которые их любили. Этим жертвам полагалось быть ангелоподобными, нежными, воздушными, смиренными и лишь в некоторых редких случаях му-

жественными подругами помыслов и страстей своих возлюбленных. Пушкин и на этот раз удержал основное положение и дал Онегину измучить Татьяну, но во всем остальном придумал вполне оригинальную развязку. Татьяна была влюблена и, может быть, мечтала стать ангелом хранителем и нравственной поддержкой героя, но все-таки она больше думала о себе, чем о нем. Онегин — он влюблен не был и отклонил ее любовь. Он в этом случае не мог упрекнуть себя ни в чем, так как не подозревал, что навсегда разбил ее сердце. По первоначальному замыслу Онегин должен был влюбиться в Татьяну, но поэт во время спохватился. Онегин вполне искренно и без аффектации на этот раз любовному искушению не поддавался.

Пушкин очень любил свою Таню. Бросить ее в усадьбе и забыть о ней он не мог; не мог и Онегину простить того, что он не оценил ее сердца. Продолжение романа напрашивалось.

История любви Онегина и Татьяны взяла целых пять глав романа. Они были написаны в Михайловском в 1824-1826 г. Обстановку для них выдумать не пришлось, она была перед глазами. Михайловское, дворня и няня, леса, поля, нивы, озера и реки в весеннем и зимнем уборе, веселое женское общество в ближнем Тригорском, рассказы о соседях, вечеринки, гадания... В 1826 году Пушкин Михайловское покинул и решил, что и Татьяна должна покинуть свою усадьбу. Перед отъездом своим в Москву Татьяна пожелала проститься с опустевшим домом Онегина. Пушкин сопровождал ее и воспользовался этим случаем, чтобы заговорить с ней о своем приятеле. Сама Татьяна вряд ли бы разгадала так быстро и верно, с кем она имела дело, если бы Пушкин не помог ей. Он указал ей на сочинения Байрона и еще на другие книги, по которым она могла ознакомиться с тем типом людей, бледным сколком с которых был ее герой. Пушкин не пощадил его, но Татьяна осталась верна своей любви.

Эта любовь и все воспоминания бывшего помешали ей войти в колею новой жизни, которая развернулась перед ней в столицах. Пушкин не хотел, чтобы Татьяна стала светской дамой того типа, который он так не любил и он, изменив ее внешность, сохранил за ней ее душу. Ее надо было сохранить, чтобы не менять любимого облика и избавить себя от необ-

ходимости писать продолжение рассказа. Татьяна, если она осталась прежней Таней, героиней светского романа уже стать не могла.

Надо было проститься и с героем. И о нем нельзя было сказать ничего нового, если не впасть в литературный шаблон, который требовал, чтобы герои его типа либо гибли, либо вступили наконец на стезю покаяния и добродетели. Но Пушкин души Онегина менять также не пожелал. Каким он был раньше, таким и остался. Томясь в бездействии досуга дожидаясь он до 26-ти годов и не изменил ни одной своей привычке. Правда, Онегин успел поехать по России. Побывать за границей он не пожелал, так как вдруг почему-то Запад возненавидел. Томимый все той же скукой вернулся Онегин в столицу, попал на раут, и Пушкин захотел, чтобы на этот раут была приглашена и Татьяна.

Прежде чем оборвать рассказ о жизни героя — а он уже ни на какую роль больше ни годился — Пушкин решил прочитать ему наставление и поручил это сделать Татьяне. Чтобы наставление это не показалось надуманным, надо было придумать для него какие-нибудь особые психические предпосылки. Пушкин вспомнил, что в характеристике Онегина им был допущен один большой пробел. Одна черта его характера — для людей его типа черта первостепенного значения — осталась совсем в тени. Мы не видали Онегина в пылу любовной страсти, а герои разочарования должны были непременно проходить через это испытание. Амуры, которыми Онегин был пресыщен в юности, страстью назваться не могли. И вот, вторая встреча с Татьяной, хоть и поздно, заставила Онегина изведать эту страсть. Холодный, разочарованный эгоист запылал как юноша.

Рассказ об этой любви, изображение всех ее мук — и телесных, и духовных — один из тончайших психологических этюдов когда-либо созданных Пушкиным. Чего-нибудь выдумывать и восполнять мечтой поэту в данном случае не пришлось. Последняя глава Онегина была закончена в Болдине, когда Пушкин был женихом и если ему не приходилось так изнывать о невесте, как изнывал Онегин о Татьяне, если он не заболел от любви, не впал в усыпление чувств и дум, не сох и не бледнел, то все-таки силу истинной страсти и любов-

ного томления он познал в Болдине, когда мечтал о невесте и, вероятно, как Онегин, сидя перед камином, ронял в огонь, то туфлю, то книгу. Письмо, которое написал Онегин Татьяне, было ему продиктовано Пушкиным в 1831 году, в октябре, полгода спустя после свадьбы.

Если Пушкин хотел на прощание расположить читателя в пользу героя, то эта поздняя любовь нас, действительно, до известной степени с ним примиряет. Конечно, не удовлетворения своему тщеславию искал Онегин в этой любви и вовсе не желание восторжествовать над „княгиней“ побуждало его преследовать Татьяну своей любовью. Не за этой соблазнительной честью он гнался, как думала напуганная им в усадьбе Татьяна. В его любви сказалось все, что было в его душе жизненного, еще не убитого хандрой и бездельем, не раз'еденного скептицизмом и эгоизмом, не осмеянного. Это было проявление последнего живого чувства в нем; это были его последние прямодушные слова. Когда эти слова отзвучали, других его слов можно было уже и не слушать. Татьяна выслушала его признание, сказала ему, что она его любит и отказала от дома, чтобы положить конец неловкому положению, из которого можно было выйти только одним путем — разбив жизнь мужа, дав Онегину счастье на год, если не меньше, и на много лет осудив себя на страдания.

Семь лет (1824—1831) работал Пушкин над своим романом, столь занимательным при его простоте и столь художественно совершенным.

Это был наш первый роман в реальном стиле, хоть и с большой примесью чисто лирического элемента — целый альбом бытовых этюдов и галерея портретов, писанных с живых людей, и среди них первый женский портрет без романтических белил. Это были автобиографические записки в картинках и сентенциях, странички из жизни поэта, который на короткий срок совпал с героем повести в некоторых суждениях и ощущениях. Это было пояснение одного интеллигентного русского типа, достаточно тогда распространенного, в мироощущении своем не самобытного, но отражающего своеобразное душевное настроение, не беспочвенное во второй половине царствования Александра Павловича.

Много мелкого и пустого было в этом типе, но, сравнивая его с другими господствовавшими тогда типами и отдавая себе отчет в своем собственном настроении тех лет, Пушкин не хотел осудить его без снисхождения. Он в Онегине ценил хоть бесплодную, но всетаки силу независимой личности. Много ли среди врагов и порицателей Онегина было таких людей, которые не были самолюбиво ничтожны, которые любили простор ума, не были заняты вздором и по плечу которым не была одна посредственность.

Зачем же так неблагоприятно
Вы отзываетесь о нем?
За то-ль что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум любя простор теснит;
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела;
Что глупость ветрена и зла:
Что важным людям — важны вздоры,
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

XIV

14 - о е Д Е К А Б Р Я 1825 Г О Д А

Отношение Пушкина к событиям 14-го декабря 1825 года не вполне выясненный эпизод его жизни.

Следствие по этому делу велось с такой строгостью, что если бы был хоть малейший намек на причастность к нему Пушкина, он был бы арестован. Опасность могла грозить ему, так как друзей и поклонников его свободолюбивой музыки среди декабристов было много и на процессе говорилось о том сильном влиянии, какое эти стихи Пушкина имели на молодое поколение. В самом заговоре и в восстании Пушкин не принимал никакого участия. В прошении на высочайшее имя (1826), ходатайствуя о разрешении, в виду расстроенного здоровья, приехать в столицы или выехать за границу, Пушкин писал:

„я обязуюсь впредь ни к каким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать. Свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу не принадлежал и не принадлежу, и никогда не знал о них“. В официальном документе такого рода нельзя было говорить неправды, не рискуя очень многим. Наконец, и отношение императора Николая Павловича к Пушкину, непосредственно после суда, показывает, что он считал его по декабрьскому делу совершенно чистым.

Но спрашивается, как могло случиться, что Пушкин остался совершенно в стороне от этого движения и даже не знал о нем? „Бунт и революция мне никогда не нравились, писал Пушкин тотчас после окончания следствия, но я был в связи почти со всеми и в переписке со многим из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем. Если бы я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое — кажется это не к добру“. Как, будучи в связи со всеми и в переписке со многими, мог Пушкин не знать о том, что готовилось? В Михайловском, где он жил в 1825 году безвыездно, Пушкин вел записки и приводил в порядок свои дневники. „При открытии несчастного заговора, рассказывал он в 1830 году, я принужден был сжечь свои тетради, которые могли замешать имена многих, а может быть и умножить число жертв... Я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами с откровенностью дружбы или короткого знакомства. Теперь какая-то торжественность их окружает“... Сожжение записок ясно говорит о том, что в них, действительно, был матерьял, который мог бы подсудимым напортить и запутать новых лиц. А между тем ни одно письмо Пушкина на процессе не предъявлялось и декабристы при всей своей откровенности на допросе, при частых оговорах товарищей — Пушкина не оговаривали. И, вероятно, не потому, что берегли его, а потому, что сказать им было нечего.

Среди видных участников заговора были лица, которых Пушкин хорошо знал, уважал и любил. Два лицейских товарища — Пущин и Кюхельбекер, Рылеев, с которым Пушкин был на „ты“, А. Бестужев, частый его собеседник по литературным вопросам и Пестель. С Пестелем Пушкин встречался

на юге, имел с ним разговор „метафизический, политический и нравственный“ и отметил в своем дневнике, что Пестель один из самых оригинальных умов, с которым ему пришлось встречаться.

Итак, разговоры с друзьями в Петербурге до ссылки, разговоры на юге, в обществе офицеров южной армии, в политическом движении замешанной, держали Пушкина несомненно в курсе либеральных и радикальных мыслей и планов того времени. Если верить стихотворным признаниям („Арион“ 1827), то Пушкин отводил себе среди заговорщиков даже особую роль — певца в стане воинов. Если он, действительно, был „Арион“, то не мог же он не знать, куда корабль курс держит?

Нас было много на челне;
Иные парус натягали,
Другие дружны упирали
В глубь мощны весла. В тишине,
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн —
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик, и пловец!
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою,
И ризу влажную мою
Сушу на солнце, под скалою.

Но „Арионом“ Пушкин был лишь в самом общем смысле, как певец свободы, и удаленный в 1820 году из столиц, он о росте революционной мысли имел отрывочные и случайные сведения. Да и сама революционная мысль тех годов, как известно, развивалась без всякого определенного плана.

Принято думать, что друзья умышленно молчали, чтобы уберечь поэта. Но это мало вероятно. О чем, собственно, они могли молчать? Вообще о своих политических взглядах? Но Пушкину в общем они были известны. О подготавливавшемся восстании после смерти Александра I? Но декабристы и накануне восстания еще никак не могли согласиться в том, как провести его. Все, что они могли сделать когда вспомнили о Пушкине — если они в эти дни о нем вспомнили — это вы-

звать его после смерти императора немедленно в столицу. Но они пять лет Пушкина не видали, в среде своей имели своего „поэта“, и Пушкин не был им нужен, так как нужных им связей в столице не имел. Высказывалось предположение, что друзья молчали потому, что не доверяли Пушкину и боялись, что он мог проболтаться кому не следует. Но ведь сами заговорщики были люди экспансивные и до нельзя неосторожные. Тайны из своего тайного общества они не делали, вербовали членов открыто, и даже император Александр Павлович был осведомлен о том, что они замыслили. Среди них были люди гораздо менее способные хранить тайны, чем Пушкин.

В августе 1825 года Пушкин писал одной своей приятельнице, что он решительно не знает ничего о том, что в Петербурге делается. 4-го декабря, за десять дней до восстания, он писал Катенину письмо литературного содержания, где между прочим говорил: „как верный подданный должен я, конечно, печалиться о смерти государя; но как поэт радуюсь восшествию на престол Константина I: в нем очень много романтизма, бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем, напоминают Генриха V. К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше. Словом, я надеюсь от него много хорошего“. О кандидатуре на престол Николая Павловича, Пушкин очевидно не имел сведений.

Рассказывают, что получив известие о восстании, Пушкин на другой же день выехал в Петербург, но не доехав до первой станции вернулся обратно, потому что при выезде встретил попа, а затем заяц перебежал ему дорогу. Это вполне возможно. Пушкин был суеверен. „Суеверные предметы, говорил он, согласны с чувствами души“. Он верил в силу талисмана, в серебрянную копеечку; заяц напугал его и в 1833 г., когда он ехал из Симбрска в Оренбург; на попов он озлился не меньше чем на зайца, когда он их встретил на границе Болдинской усадьбы. Пугал его и месяц с левой стороны. „Человеку сродно предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам“, говорил он. Вполне возможно, что суеверная примета остановила Пушкина в 1825 г. на пути в Петербург. Но характерно то, что он вообще решил ехать как только услышал, что в Петербурге бунт. Поступок смелый и еще более смелый, если Пушкин по слухам

знал, что бунт подавлен. Но знал ли он или не знал об исходе бунта, он свое имя как будто желал связать с этим событием.

На черновых листах V главы „Онегина“ (1826) Пушкин набросал рисунок. На нем были изображены — вал и ворота и на валу виселица с пятью повешенными. А с боку начата фраза: „я бы мог как тут на“... Внизу страницы был опять повторен рисунок и те же слова. И в черновых набросках к „Полтаве“ (1828) рисунок тот же.

Приговор произвел на Пушкина необычайно тяжелое впечатление. О казни он услышал 27-го июля 1826 года и отметил эту дату в своей записной тетрадке и приписал: „видел во сне“. Через месяц, он писал: „каторга 120 друзей, братьев, товарищей — ужасна... На всех стихиях человек — тиран, предатель или узник“...

Участники заговора названы друзьями, братьями, товарищами: судьи — тиранами и предателями, а о себе сказано „что и он бы мог как тут“... За какие преступления? Он ведь сам так решительно утверждал, что если бы его привлекли к следствию, то он был бы непременно оправдан?

Во всем этом есть неясности. Пушкину как будто не хотелось считать себя совсем посторонним в этом деле, а с другой стороны, прежнего боевого темперамента уже не было и всякие политические выступления казались ошибкой.

В январе 1826 года (до казни) Пушкин писал: „образ мыслей моих известен. Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню [за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавал полную справедливость истинным его достоинствам. Но никогда я не проповедывал ни возмущений, ни революций — напротив. Класс писателей, как заметил Альфьери, более склонен к умозрению, нежели к деятельности, и если 14-ое декабря доказало у нас иное, то на это есть особая причина. Как бы то ни было я желал бы вполне и искренно помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого кроме его не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны“.

Премирение состоялось в дни коронации нового императора. Но, вернув Пушкину свободу, царь произвел ему в осо-

бой форме строгий экзамен. Он предложил ему высказаться по вопросу „о народном воспитании“. Выражаясь языком наших дней, царь предложил Пушкину заполнить анкету. Он желал знать мнение Пушкина не о народном воспитании, а о событиях 14-го декабря. Бенкендорф обратился к Пушкину с письмом, в котором писал: „Его величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметами о воспитании юношества. Сей предмет должен представить вам тем обширнейший круг, что вы на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания“. Пушкин на это письмо сразу не ответил, очевидно, пораженный неожиданностью предложения. Бенкендорф повторил поручение и Пушкину пришлось с ответом поторопиться. Положение Пушкина было очень деликатное и трудное. „Мне было бы легко написать то, что хотели, говорил он одному из приятелей, но не надобно же пропускать такого случая, чтобы сделать добро“. И Пушкин попытался сказать несколько слов в защиту своих друзей. Сначала он хотел прямо воззвать к милосердию царя. „Должно надеяться, писал он, что братья, товарищи, друзья погибших успокоятся временем и размышлением, поймут, простят в душе необходимость, с надеждою на великодушие, на милость монарха, коего власть неограничена никакими законами“... Этот призыв к милосердию Пушкин, однако, вставить в текст записки не решился. Но записка тем не менее оставалась прошением о снисхождении.

Воспитание юношества, как оно у нас поставлено, Пушкин признал очень несовершенным. Дворянское домашнее воспитание — безнравственно. Ребенок окружен одними холопями, видит гнусные примеры, своевольничает или рабствует и не получает никакого понятия о справедливости. Воспитание в частных пансионах не лучше. Пансионы эти должно закрыть и все воспитание юношества надо сосредоточить в руках государства. Воспитание заграничное запрещать нет надобности, так как оно не в пример менее вредно, чем воспитание патриархальное. В кадетских корпусах требуется больший присмотр за нравственностью, в особенности строго должно преследовать похабные рукописи. Уничтожение телесных наказаний — необходимо. Слишком жестокое воспитание рискует сделать из воспитанников палачей, а не начальников. В гимназиях,

лицеях и университетских пансионах срок обучения должен быть продлен. Преподавание языков надо сократить и внимание в старших классах должно быть обращено на преподавание прав, политической экономии и истории. В младших классах историю надо преподавать без всяких нравственных и политических рассуждений, но в окончательном курсе история должна показать с хладнокровием разницу духа народов, источник нужд и требований государственных. Не должно, ни хитрить, ни искажать республиканских рассуждений. Не надо позорить убийства кесаря, превознесенного 2000-ми лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а кесаря честолюбивым возмутителем. Вообще не должно, чтобы республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны.

Все замечания Пушкина (из них многие были вполне справедливы), сводились к одной, также верной мысли: недостаток нужных знаний может молодых людей толкнуть на опрометчивое политическое выступление. В развитии этой мысли, но уже применительно к 14-му декабря, Пушкин умышленно допустил несколько резких выражений. „Недостаток просвещения и нравственности, писал он, вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий. Лет 15 тому назад молодые люди занимались только военною службою, старались отличиться одной светской образованностью или шалостями. Десять лет спустя мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно политический, литературу (подавленную самую своенравною цензурою), превратившуюся в рукописные пасквили на правительство и в возмутительные песни, наконец, и тайные общества, заговоры, замыслы более или менее кровавые и безумные. Ясно, что походам 1813 и 1814 года, пребыванию наших войск во Франции и Германии должно приписать сие влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли на наших глазах. Должно надеяться, что люди разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились; что с одной стороны они увидели

ничтожность своих замыслов и средств, с другой—необъятную силу правительства, основанную на силе вещей... Но надлежит защитить новое, возрастающее поколение“...

„Осмотрительное воспитание и истинное свободное просвещение должно уберечь это поколение от соблазна и пример тому Н. И. Тургенев, воспитанник Геттингенского университета. Он, несмотря на свой политический фанатизм, отличался посреди буйных своих сообщников нравственностью и умеренностью, следствием просвещения истинного и положительных познаний“.

Большую помощь в деле воспитания грядущих поколений может оказать преподавание истории России (по Карамзину), ее статистики и ее законодательства.

„Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целью искренно, усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве“.

И так, виновата не молодежь, а вся система воспитания...

Записка не предназначалась для печати. Пушкин мог думать, что никто никогда ее не увидит; в выражениях можно было не стесняться, если была надежда, что ими можно сделать доброе дело. Пушкин, осуждая декабристов, им не вредил, а указание на то, что они в сущности жертва воспитания и обучения, хоть и не было для царя ново, но было рассчитано на то, чтобы смягчить его душу.

Записка должна была царю понравиться уже в виду той откровенности, с какой Пушкин говорил о себе и о своих вольных стихах, любовных и политических. Принося это покаяние, Пушкин, однако, настойчиво утверждал, что неразумное применение либеральных и революционных идей к жизни не должно исключать разумного ознакомления с ними. Царь, конечно, держался иных взглядов, но резолюцию положил милостивую. Бенкендорф передал Пушкину ее смысл в таких словах: „Принятое вами правило, будто-бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самых на край пропасти и повергшее в оную толикое число

молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем рассуждения ваши заключают в себе много полезных истин“. Выговор был сделан, и предупреждение было дано.

„Пушкин выжидал первой минуты царского благоволения к нему, чтобы заикнуться не о себе, а о другом несчастном, упавшем... Как он весь оживлялся и вспыхивал, когда дело шло к тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника“, — сказал как-то о Пушкине Гоголь. Трудно предположить, что Пушкин решался заговаривать с царем о декабристах, но возможно. Он нашел бы форму, в какой такие речи вести было можно...

На царское милосердие Пушкин стал надеяться, как только узнал об исходе возмущения: „Надеюсь для них на милость царскую“. „Твердо надеюсь на великодушие нашего царя“. „Мне сказывали, что 20-го (февраля 1826) г. е. сегодня, участь их должна решиться — сердце не на месте; но крепко надеюсь на милость царскую. Меры правительства доказали его решимость и могущество. Большого подтверждения, кажется не нужно. Правительство может пренебречь ожесточение некоторых обличенных (1826)“.

Известие о казни было для Пушкина неожиданным ударом. Теперь у него „перо не повернулось-бы написать то прошение“, которое он написал, прося царя высвободить его из ссылки. „Но повешенные — повешены. Еще таки я все надеюсь на коронацию“.

Царь был неумолим, а Пушкин все продолжал надеяться: „Каков государь! Писал Пушкин в 1830 году по поводу приезда царя в зачумленную Москву, молодец! Того и гляди, что наших каторжников простит“. В 1835 году он был обрадован известием о смягчении участи некоторых декабристов, в том числе Кюхельбекера, и на радостях стал уверять себя в том, что правительство всегда относилось к Кюхельбекеру мягко и снисходительно...

Но в конце концов все-таки пришлось взглянуть на всю эту печаль „глазами Шекспира“.

За декабристов заступался и художник. Он не упускал случая намекнуть царю об осужденных. Иногда поэт прямо обращался к царю и, вспоминая мятежи и казни славных дней Петра, говорил ему: „Семейным сходством будь же горд, во всем будь пращуру подобен, как он неутомим и тверд и памятью как он не злобен“. Незлобивость Петра была сомнительна, но Пушкину хотелось, чтобы царь ему в этом поверил. Печатать это стихотворение царь, однако, не разрешил. Случалось ли рассказывать как Петр веселился, поэт не упоминал ни о военных победах Петра, ни об его семейных радостях. Он прославлял ту победу, которую Петр одержал над самим собою, когда мирился с подданным. Отпуская вину виноватому, Петр пенил с ним одну кружку, целовал его в чело, был светел лицом и торжествовал прощение, как победу над врагом (1835).

Но император оставался глух и проявлял в отношении к декабристам неизменную суровость. Всю жизнь он не мог простить им их выступление, не потому, конечно, что оно ему чем-нибудь грозило. Несчастный бунт, уничтоженный тремя выстрелами картечи и взятием под стражу всех заговорщиков, конечно, царю опасен не был, ни в день 14-го декабря, ни после. Но царь не мог простить декабристам того, что они ему испортили самый радостный день его жизни, и дали Европе повод говорить, что военная и статская молодежь высшего круга его царем иметь не желала и что законное право на престол он должен был отвоевывать у своих подданных. Декабристы были его личные враги, а не политические.

Сколько должен был выстрадать Пушкин, размышляя над гневом царя, которого любил, и над участью своих друзей, прежде чем начать убеждать себя в том, что царь имел право казнить своих врагов! „Покойный государь“, записал Пушкин в дневнике 1834 года, „окружен был цареубийцами — вот причина, почему при жизни его никогда не было суда над молодыми заговорщиками, пособниками 14 декабря. Государь ныне царствующий первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышление о цареубийстве“ (как известно такие помышления у некоторых декабристов были).

Пушкин, поскольку позволяли обстоятельства, не скрывал своей любви к осужденным. Из всех друзей ему удалось уви-

дать после приговора только одного своего лицейского товарища — Кюхельбекера. Встреча была трогательная. Произошла она на почтовой станции около Боровичей, когда Кюхельбекера перевозили из Шлиссельбурга в Динабург... „Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили, фельд'егер взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слушал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали“.

Остальные друзья для Пушкина навсегда исчезли.

Переписываться с ними Пушкин, само собою разумеется не мог, но при случае он писал им послания, которые, вероятно, выученные наизусть, каким-то путем до них доходили. Так Пушкину послал он приветствие в десять строчек — напоминание о лицейских днях и о беседе в Михайловском. На лицейской годовщине 1827 года вспомнил он о друзьях во „мрачных пропастях земли“ и, наконец, в том же году написал известное послание в Сибирь, которое взялась доставить жена декабриста Муравьева, ехавшая к мужу. Послание написано в духе прежних свободолюбивых стихов:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье:
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Пробудит бодрость и веселье;
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас;

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Спросить, однако, можно — кто же добудет тот меч, который власть вырвала из рук восставших? Кто передаст им его обратно? Кто эти братья, которые ждут их освобождения? Кто разрушит их темницы? Кто станет или уже стоит под

знаменем свободы? Послание было, конечно, не донесением о ходе дел, а плодом мечты и словами утешения. В спокойные минуты поэт совсем иначе оценивал скорбный труд декабристов.

Отдавая все должное их образу мыслей и их смелости, он осуждал их выступление. Осуждал и всякие тайные общества (1827). В статьях о Радищеве (1835) он говорил об „упоительных и вредных мечтаниях, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения“. „Мысли детские и несбыточные — писал он — заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человека, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими“. Последние слова туманны, но послѣ десятилетней каторги друзей Пушкину не хотелось говорить яснее и резче. Да и сами декабристы, оставаясь свободолюбцами, признали свой стратегический шаг на площади — ошибкой.

Свободолюбцем остался и Пушкин, как-бы он ни отходил от „упоительных“ мечтаний своей юности. Но можно было считать выступление ошибкой, не отрицая за самым историческим фактом его большого значения.

И Пушкин по своему истолковывал исторический смысл событий 14 декабря. О том, какие они будут иметь последствия для нашей общественной и политической жизни, он, конечно, догадаться не мог. Он стремился только выяснить себе — как такое событие могло случиться. И понимал он его как движение сословное, как выступление старого русского родовитого дворянства против самодержавной власти, которая, начиная с Петра, стремилась старое дворянство принизить и заменить его новым, для себя более удобным. Для приобретения каких-то прав (каких — Пушкин в своих публицистических статьях не пояснил) старое дворянство решилось выйти на площадь.

XV

Ц А Р Ь

Существует рассказ, подтвержденный будто-бы самим Пушкиным, о первой встрече его с царем Николаем Павловичем. „Принял ли бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петер-

бурге“? спросил царь. Пушкин отвечал утвердительно, не запинаясь. Если рассказ и не совпадал с действительностью, он верно обрисовывает, и личность царя, и личность Пушкина.

С царем разговаривал молодой человек, дурно ославленный; положим, талантливый поэт, но вовсе не тот Пушкин, которого мы знаем, а пока лишь автор нескольких стихотворений и двух-трех поэм. Царь едва-ли читал их; то, что было написано в Михайловском, не могло быть ему известно; и если царь успел, что запомнить, так это были, вероятно, те любовные и политические стихи Пушкина, о которых так много говорилось. Своим освобождением Пушкин был несомненно обязан хлопотам друзей и прежде всего Жуковского. Но и царь оказал ему бесспорно, по тем временам, исключительное внимание.

За это внимание поэту пришлось рассчитывать, и расчеты бывали иногда очень неприятны. Милость-милостью, но она недоверия не упраздняла, да и не могла упразднить после 14 декабря. Пушкин был взят под тайный полицейский надзор, и оставался под надзором всю жизнь. Был и надзор явный. Царь пожелал стать лично цензором всего, что Пушкин пишет, а Бенкендорфу поручил быть посредником. Бенкендорф называл такое положение „находиться не под гневом, а под отеческим попечением“. Начальник жандармов — по горло занятый в те годы всевозможными выслеживаниями — не имел, ни времени, ни охоты воспитывать в благонадежном духе и охранять от искушений строптивного поэта, который к тому же в полную его власть отдан не был. Пушкин ему надоедал часто своим существованием, а еще больше надоедал он Пушкину.

Сравнительно с тем положением, в каком потом находились русские писатели, состоящие под надзором, положение Пушкина тяжелым названо быть не может. Положение было неприятное, но терпимое. Никаких притеснений Пушкин не испытал. Самое неприятное было чувствовать себя всегда на подозрении, когда упрекнуть себя не в чем. Опекун делал намеки, замечания, предостережения и выговоры, иногда в словах раздраженных. Если-бы Пушкину было прямо сказано, что он не имеет права без разрешения сделать ни одного шага, как обыватель и писатель, то к такому положению можно было бы как-нибудь приноровиться. Но Пушкин не

знал, что позволено, что нет. Крайне тягостное впечатление производит переписка Пушкина со своим надзирателем. Бенкендорф желает быть как можно менее деликатным, а Пушкин стремится быть изысканно вежливым: пишет просительные письма, когда обстоятельства к тому вынуждают, и извинительные, когда никакой вины за собой не чувствует. Еще в 1826 году Пушкин признавался Вяземскому, что Бенкендорф ему „надоел“.

Пушкину сделали выговор за то, что он с'ездил без разрешения в Москву, за то, что на Кавказе переступил русскую границу, за то, что в частных домах читал нецензурированного „Бориса Годунова“... Все это в конце концов были мелочи и никаких серьезных последствий эти выговоры не имели, но надо знать характер Пушкина, чтобы понять, как такие мелочи могли на него действовать. А Бенкендорф, конечно, с характером Пушкина считаться был не обязан. И поэтому иногда казалось, что „в тишине собираются вновь тучи и завистливый рок угрожает снова бедою“... Усталый Пушкин уверял себя, что равнодушно ждет этой бури... Но едва-ли можно было равнодушно спрашивать приятеля, не „запретили ли тебе со мной переписываться“ и в обществе наталкиваться на предубеждения, опасения, подозрения, даже в семье невесты. Иногда впрочем свойственное Пушкину добродушие остроту этих уколов смягчало; какое-нибудь царское внимание успокаивало; тогда и Бенкендорф казался милым человеком. „Он человек снисходительный, благонамеренный, писал Пушкин, и чуть ли не единственный вельможа, через которого нам доходят частые благодеяния государя“ (1830). Хороши же были другие вельможи, если таков был этот посредник в царских благодеяниях!

Положение — повторяем — было неприятное, каким и должно было быть положение единственной, быть может, тогда в России сильной личности среди писателей, каким был Пушкин. Сравниться с ним мог в этом отношении разве только один Чаадаев, которого он так любил. Но Чаадаеву приходилось труднее.

„Мои отношения к правительству, говорил Пушкин, то дождь, то солнце“. В 1834 году Пушкин с царем по какому-то случаю повздорил и написал прошение об отставке, „в минуты хандры и досады на всех и на все“. Царь велел сказать, что

он его не удерживает. Бенкендорф, если бы желал, то мог воспользоваться этим случаем, чтобы сделать Пушкину большую неприятность, но он затянул дело и Пушкин на службе остался. „Лучше чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе“ — докладывал Бенкендорф императору, не желая отягчать себя надзором за кочующим Пушкиным, когда его можно было иметь под боком и на известной цепи.

Отношение Пушкина к самому царю, насколько позволяют судить сохранившиеся документы, никакой тайны в себе не заключали. Наша критика и публицистика долго не могла помириться (да и до сих пор не помирилась) с мыслью, что Пушкин в своих словах о царе был откровенен и искренен. Слов императора о Пушкине до нас почти никаких не дошло, а те, которые дошли, не заключают в себе ничего для Пушкина обидного, оскорбительного или враждебного. Что думал о нем царь мы не знаем, да это и не существенно. Как бы подозрительно царь к Пушкину не относился, но он в нем ценил большого человека, иначе не стал бы с ним стесняться, как он вообще ни с кем не стеснялся. Зла он ему никогда не делал — того зла, которое ему случалось делать писателям. Где было возможно царь Пушкину всегда приходил на помощь. Сближения с ним он не искал и другом его не был, это — правда; но это не значило, что он был его врагом. Не надо упускать из виду, какие тогда были времена, и что такое был царь в своем собственном представлении и в представлении о нем подданных. По мнению самого Пушкина, цари для сохранения престижа не должны быть, ни предупредительны, ни обходительны.

В юности Пушкин особого почтения к царям не питал. В Лицее он слагал, как полагалось, дифирамбы в честь Александра I, и то редко и без вдохновения. В 1819 году на вызов написать стихи в честь государя и императрицы Елисаветы Алексеевны, он хоть и прославил Елисавету, но предпослал этому прославлению оговорку. „На скромной моей лире, говорил он, я земных богов не хвалил и в свободной гордости не кадил кадиллом лести. Умея славить лишь свободу, я не рожден забавлять царей стыдливой моей музой“. „Порочный двор царей“ Пушкина не прельщал (1819) и молебнов лести Октавию он не пел (1821).

Только в 1828 году, два года спустя после суда над декабристами, Пушкин решился обратиться к царю со стихами. Некоторые знакомые поэта были недовольны тем, что он о царе был хорошего мнения, и Пушкин отвечал им, что он не „льстец“, что говорит он „языком сердца“, что он „полюбил царя за то, что он честно и бодро правит. Царь оживил Россию войной, надеждами и трудами; державный дух в нем не жесток; карает он явно, но втайне творит милости; наконец он почтил во мне вдохновение, освободил мою мысль“. „Нет! я не льстец и на царя словами моими горя не накличу“:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу (1828).

Когда Пушкин мог сказать о царе что-нибудь доброе, будь это пустяк, он говорил. Его радовало, что царь мог зачитаться Гомером, когда веселящаяся толпа ждала его на рауте, и он славил царя за то, что эту толпу, скачущую вокруг светского кумира, „он не проклял, как некогда Моисей, но улыбнулся им, бессмысленным детям (1834)“. Приезд царя в зачумленную Москву привел Пушкина в восторг. И он написал, как он выражался „апокалипсическую“ песнь в его славу. Вспоминая о Наполеоне, который будто-бы посетил чумный лазарет, Пушкин жалел, что посещение это не истина, а легенда, один из возвышающих нас обманов, но утешал себя, думая о русском „герое“, который на глазах у всех не боялся взглянуть чуме в лицо (1830). С гордостью говорил Пушкин и о том присутствии духа, которое царь обнаружил при успокоении взбунтовавшегося на Сенной площади народа во время эпидемии в Петербурге. „Чернь слушала на коленях... тишина... один царский голос как звон святой раздавался на площади“...

Стихи, в которых Пушкин говорил о царе, печатались анонимно, или без указания к кому они относятся, и потому лезть их назвать нельзя. Так же точно и отзывы о царе в письмах были совершенно свободной данью сердца поэта. Он мог не писать тех строк, которые написаны. Припомним эти строки.

„Назначение Гнедича членом Главного Управления Училищ делает честь государю, которого я искренно люблю и за которого всегда радуюсь, когда поступает он прямо по царски“ (1831).

„Царь дал мне жалованье, открыл архивы, с тем чтобы я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны. Он сказал: „так как Пушкин женился и не богат надо faire aller sa marmite. Ей богу он очень со мною мил... Он со мной очень милостив и любезен. Того и гляди попаду во временщики“ (1831). „Государь литератор не весьма твердый, хоть и молодец и славный царь“ (1833). Иногда фантазия Пушкина разыгрывалась и он в поступках царя видел то, чего в них было. В разрешении печатать „Бориса Годунова“ Пушкин увидел доказательство „свободы, смело дарованной монархом писателям русским в такое время и в таких обстоятельствах, когда всякое другое правительство старалось бы стеснить и оковать книгопечатанье“. „Не думайте, говорил Пушкин Бенкендорфу по этому поводу, что царь, давая мне это разрешение смотрит на него так же узко как и вы. Вы видите в нем простое дозволение начальства, а я вижу гораздо больше“... Не надо доказывать, что в данном случае Бенкендорф был прав.

„Хотя я лично душевно привязан к императору, писал Пушкин Чаадаеву, но я вовсе не восхищаюсь тем, что я вокруг себя вижу“ (1836), и наивны были бы мы, если все похвалы, которые Пушкин говорил царю, мы отнесли бы к его царствованию. „Он не виноват в свинстве его окружающем“, говорил Пушкин, имея в виду какие-то личные трения с царем. Но вряд ли он снимал с царя ответственность за то, что творилось. Психолог Пушкин был тонкий и „Николаевские“ черты в характере царя от него не скрылись.

В дневнике 1834 года есть такая запись. „В Александре I было много детского. Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку. Полетика (один из собеседников на обеде, на котором речь зашла об Александре I) сказал: „Император Николай более положителен, у него есть неверные взгляды, как у его брата, но он меньший мечтатель (visionaire)“. Кто-то сказал о государе: „в нем много от прапорщика и не-

много от Петра Великого“. Пушкин оставил эту остроту без возражения: очевидно, она ему понравилась.

Сам он от „прапорщика“ терпел очень мало, но, конечно, и царь был не из тех людей, в сношениях с которыми можно было не сердиться. Пушкину несколько раз пришлось испытать бессильное раздражение. С 1830 года Пушкин думал о политической газете, а потом о политическом журнале. Ему хотелось подорвать „монополистов“ „Северной Пчелы“ и „воровскую шайку“, которая завладела журналистикой. От своего издания Пушкин многого не ожидал при тогдашних цензурных условиях и отлично знал, каким неприятностям себя как редактор подвергает, но мыслью о газете он всетаки был увлечен. Были, конечно, и материальные расчеты. „Государь обещал мне газету, а там запретил; заставляет меня жить в Петербурге, а не дает мне способов жить моими трудами“. Но, кажется, что в данном случае царь был прав. Пушкин, как редактор политической газеты, состоя сам под личной цензурой царя, поставил бы своего цензора в невозможное положение, и сам очутился бы в таком же. Рассчитывать на какое-нибудь общественное значение и влияние такой газеты было тщетно.

Пушкин иногда мечтал о переезде в деревню, но всегда выходило так, что мечты оставались мечтами. „Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты“. Едва ли царь мог иметь что-нибудь против жизни Пушкина в деревне, но он знал, что Пушкин в деревне с женой не усидит, и либо перейдет на вольную жизнь в столицах, где за ним все равно следить придется, либо вновь начнет искать службы, и его опять нужно будет устраивать. Мог Пушкин начать снова проситься и за границу, а царь решил твердо из пределов России его не выпускать. Это запрещение выезда было наибольшей обидой, какую ему нанес император.

Бывали, конечно, и мелкие трения. Царь не забывал, что он царь, а Пушкин не забывал, что он вдохновенный певец и таким двум особам уживаться было нелегко. Но когда раздражение проходило, Пушкин думал: „на днях я чуть было беды не наделал, с ним чуть было не побранился — и тухнул то я, и грустно стало. С этим поспорю, другого не наживу. Я долго на него сердиться не умею, хоть он и не

прав. Ну, делать нечего; главное то, что я не хочу чтобы могли меня подозревать в неблагодарности. Это хуже либерализма“ (1834).

Были два особенных отличия, которыми царь удостоил Пушкина. И оба ему обошлись не дешево. Тридцати пяти лет от роду Пушкин получил звание камер-юнкера. Поэт был озадачен, встревожен и раздражен. Кто подал царю мысль о таком отличии — неизвестно. Царь мог пожелать этого сам, могла подсказать и императрица, которая хотела иметь на своих балах Наталию Николаевну более частой гостьей. Императрица, кажется вообще, к ней благоволила. На одном приеме, когда ей представлялся Пушкин, она сказала ему, что она никак не могла догадаться, какой Пушкин ей будет представлен и когда увидела какой именно, она тотчас же перевела разговор на его жену.

Но такое внимание к жене не могло помирить Пушкина с камер-юнкерством. Он часто, и с горечью, говорил об этом инциденте. Он утешал себя тем, что намерения царя были добрые. „Пугачев“ пропущен цензурою, писал он одному своему приятелю, и я печатаю его на счет государя. Это совершенно меня утешило, тем более, что сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах, и верно не думал меня кольнуть“. И в дневнике Пушкин записал: „Меня спрашивали, доволен ли я своим званием? Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать меня смешным“. Но это были самоутешение... В интимных письмах читаем иное. „Говорят, писал Пушкин жене, что мы будем ходить (на разных торжествах) по парно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать... ни за какие благополучия“!! Детям моим утешение мало будет в том, что их папеньку схоронили как шута и что их маменька ужас как мила была на Аничковских балах“. „Я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам), но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове“... Великий князь наемни поздравил меня в театре; „покорнейше благодарю, ваше высочество (отвечал я). До сих пор все надо мною смеялись. Вы первый меня поздравили“. „Бым на балу у графа Бобринского. Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его“. „Выехал

из Петербурга за пять дней до открытия Александровской колонны, чтобы не присутствовать на церемонии вместе с камер-юнкерами, своими товарищами“. „Завтра надо будет явиться во дворец. У меня еще нет мундира. Ни за что не поеду представляться с моими товарищами молокососами, 18-ти летними. Царь рассердится. До что мне делать“?

Пушкин точно и метко выразился, когда сказал, что царь его „упек“ в камер-пажи. Царь, конечно, мог смотреть на дело иначе, и не думая о Наталии Николаевне. Царь был доволен тем, что Пушкин „держит то слово, которое ему дал“... Прошло бы еще несколько лет, Пушкин продолжал бы держать свое слово и в гражданской свите государя он числился бы камергером, имел бы чин превосходительства (до которого дослужиться ему было почти невозможно) и, наконец, как Карамзин и Жуковский, был бы украшен звездой Анны первой степени. Такие милости в наше время имеют малую цену в глазах поэта (хотя тоже не всегда), но в те времена они расценивались очень высоко. Легко возможно, что царь о них то и думал, когда давал Пушкину первый дворцовый чин. Во всяком случае вся эта история была неприятностью временной.

Второе отличие, которое Пушкину сказал царь, была высочайшая цензура. Царь пожелал сам единолично быть цензором сочинений Пушкина.

Цензура тех годов вызвала в Пушкине одно лишь чувство озлобления. „Delenda est censura“, поговаривал он (1822).

Но трудно найти писателя, который о цензуре, как об общественном учреждении был бы такого высокого мнения, как Пушкин. Он признавал ее необходимость и „святость“. Личные столкновения с ней не мешали ему говорить о благой ее роли в государстве. Еще в годы своего свободолюбия он написал „Послание цензору“ (1822). Он напоминал цензору, что он гражданин, что сан его священный; он не хотел неосторожной хулой поносить его, зная что то, что нужно Лондону, то рано для Москвы. Он требовал от цензора ума прямого и просвещенного, почтение к алтарю и трону и терпимости к мнениям и к разуму. Цензор — блюститель тишины, приличия и нравов, друг писателю, благоразумный, твердый, свободный и справедливый человек. Такому идеальному цензору Пушкин противопоставлял цензоров своего времени и его

„послание“ превратилось в злейшую сатиру, в которой могли себя узнать все обскуранты второй половины Александровского царствования. Поэт грозил им самим царем, который, возлюбив славу русскую и здравый ум, иногда сам, пренебрегая цензорами их типа, своею властью, разрешал сочинения к печати.

В 1824 году, во втором „Послании цензору“, Пушкин, продолжая глумиться над невежественными цензорами, опять заговорил о „добром“ царе, который осчастливил Россию, поручив цензуру такому просвещенному человеку, как Шишков...

Но надежды Пушкина не оправдывались. В цензуре царили произвол и невежество. Новое царствование не внесло никаких перемен... Пушкин мог продолжать глумиться над цензорами, но он держался своей тактики — и карикатуре противопоставлял идеал.

„Один из великих наших сограждан (Карамзин), сказал однажды мне (он удостоивал меня своего внимания и часто оспаривал мои мнения), что если у нас была-бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь“.

„Цензура есть установление благодетельное, а не притеснительное; мы имеем цензурный устав, даровавший нам законную свободу мысли“ (1836). „Я убежден в необходимости цензуры в образованном, нравственном и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно ни находилось. Законы противу злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона: не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое. Самая мощная, самая опасная есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия, налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристокрацией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнаруженной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографского снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно“ (1833—1835). „Цензор есть важное лицо в государстве, сан его имеет нечто священное. Место сие должен занимать гражданин, известный своим умом и познаниями, а не первый коллежский ассесор, который по свидетельству формуляра читать и писать учился в

Университете“. „Было время, что наши писатели были преданы на произвол цензуры самой бессмысленной; но теперь, слава богу, оно прошло и вероятно уже не возвратится“ (1825).

Таковы были мечты поэта, а частью, может быть и дипломатические приемы журналиста, рассчитанные на то, чтобы обличить существующее положение, противопоставляя ей желаемое и разумное. Была, может быть надежда и на то, что высший цензор прочтет эти строки, но Пушкин не успел их напечатать.

О действительном положении вещей Пушкин судил очень здраво. В 1824 году, когда он приветствовал в стихах назначение Шишкова, он в одном частном письме рассуждал так: „а хорошо ли будет, если цензура смягчится? Девиз всякого русского — чем хуже, тем лучше. Оппозиция русская, составившаяся, благодаря русского бога, из наших писателей, каких бы то ни было, приходила уже в какое-то нетерпение, которое я исподтишка поддразнивал, ожидая чего-нибудь. А теперь, как позволят говорить своей любовнице, что она „божественна“, что у нее очи „небесные“ и что любовь есть „священное“ чувство, вся эта сволочь опять уgomонится, журналы пойдут врать своим чередом, Русь своим чередом“. Хорошего же был Пушкин мнения о нашей писательской оппозиции!“ Но и о русской свободе слова мнение его было определенное — дальше пустяков она не пойдет.

„Цензура дело земское“, писал Пушкин в одном письме. Из нее отделили опрочину, а опрочники руководствуются не уставом, а своим крайним разумением. Тяжело, нечего сказать! И с одною цензурою напляшешься; каково-же зависеть от целых четырех? Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны и безответны, но даже сами от себя следуют духу правительства; но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче, даже и в последнее пятилетие царствования императора Александра, когда вся литература сделалась рукописною, благодаря Красовскому и Бирюкову... Одно спасение нам, если государь успеет сам прочитывать и разрешить“ (1836).

В 1826 году царь сказал Пушкину, что он намерен, и читать, и разрешать его сочинения. „Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная“.

„Освобожденный от цензуры, я должен однакож, прежде чем что-нибудь печатать, представить оное выше, хотя бы безделицу. Мне уже (очень мило, очень учтиво) вымыли голову“. И головомойки бывали частые, но до крупной неприятности не доходило. Самое тяжелое в таком привилегированном положении было то, что поэт, обязанный царю многим, в н у т р е н н е чувствовал себя гораздо более связанным, чем если бы думал только о цензуре, которого презирал. Высокое покровительство страшно обязывало.

Кроме того, с годами, официальная цензура переставала считать Пушкина состоящим под особой опекой и стремилась подчинить его и своей. Пушкину пришлось жаловаться, и в цензурный комитет, и Бенкендорфу: „попечитель Петербургского округа об’явил мне, что не может более позволить мне печатать моих сочинений, как доселе они печатались. Между тем никакого нового распоряжения не последовало, и таким образом я лишен права печатать свои сочинения, дозволенные самим государем“.

„Ни один из русских писателей не притеснен более моего. Сочинения мои, одобренные государем, остановлены при их об’явлении, печатаются со своевольными поправками цензора, жалобы мои оставлены без внимания“, — писал Пушкин Бенкендорфу, которого при другом случае, благодарил за то, что два раза „нашел в нем более снисходительности, чем у цензуры официальной“.

Царская цензура была несравненно корректнее и снисходительнее цензуры правительственной. Пушкину случалось с раздражением говорить об отдельных, непропущенных царем словах, фразах или страницах, но это случалось редко. И кроме того царь не мог отнять у поэта возможности печатать свои стихи анонимно, — что он и делал изредка, но только потому, что не желал царя по пустякам беспокоить.

Можно себе представить как рядовые цензора стали бы обходиться с Пушкиным, только что возвращенным из ссылки после 14-го декабря — цензора запуганные, злые и невежественные — если сам митрополит Филарет, человек очень умный и просвещенный, счел себя обиженным тем, что в „Евгении Онегине“ Пушкин разрешил галкам садиться на церковные кресты?

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Никто из русских художников тех годов не выступал так охотно в роли публициста и критика, как Пушкин. За свою краткую жизнь он написал целый том статей по литературным и общественным вопросам. По примеру Карамзина и отчасти Жуковского, Пушкин признавал за поэтом право суждение не только в царстве вымысла, но и в мире действительности, и с годами такое желание „высказываться“ в нем крепло.

Сначала его поэзия допускала тенденцию общественную и даже политическую, но затем поэт строго разграничил художественное творчество от раздумья над житейскими темами, и старался по возможности не заставлять художника прислушиваться к тому, что говорил публицист и политик. Впрочем, в своих творениях более крупного размера Пушкин вообще старался быть вполне свободным от переживаний исторической минуты, позволяя себе говорить в них только о своих личных переживаниях как художника. Большинство из таких произведений не напоминает ничем тех годов, когда они написаны. К каким годам или даже десятилетиям тогдашней нашей жизни приурочим мы „Руслана“, „Кавказского Пленника“, „Бахчисарайский фонтан“, „Цыган“, „Полтаву“, „Бориса Годунова“, „Медного Всадника“, „Повести Белкина“, „Пиковую Даму“, „Дубровского“, „Капитанскую Дочку“, „Египетские Ночи“, „Каменного Гостя“, „Русалку“, „Моцарта и Сальери“? Если бы мы не знали точно, когда все эти произведения созданы, мы не определили бы годов их рождения. Один „Онегин“ составляет как будто исключение, но и в этом бытовом романе вопросы дня обойдены или намечены двумя, тремя строчками.

Публицистика и политика иногда сквозили в лирическом стихотворении, но всякий раз, когда поэт принимался за разработку какой-нибудь современной широкой темы, а он таких попыток делал много — он бросал работу: — художник с бытописателем своего времени, т. е. с невольным публицистом, не уживался.

Но публицист продолжал свою работу, не считаясь с поэтом, и писал критические очерки и заметки.

Матерьял богатый, хоть и очень отрывочный. Противоречия в нем нет, но есть неполнота. Статьи, напечатанные при жизни поэта и прошедшие цензуру — имеют, конечно, мечшую ценность, чем статьи, оставшиеся в бумагах, в которые ничей любопытный глаз не заглядывал. Дополнением к этому матерьялу служат отрывки из писем. Почти все статьи и черновые наброски относятся к 1824—1836 годам. К раннему времени 1815—1824 — лишь очень краткие и весьма немногочисленные заметки и записи.

Начало публицистической деятельности Пушкина совпадает таким образом с годами, когда после разных романтических, разочарованных и либерально-радикальных порывов, в душе поэта наступило затишье. Разочарование улеглось; афеизм был забыт; романтические темы и положения заменялись более жизненными; политический протест растворился в целой политической системе, а порывы сводолюбивой души разрешились в спокойные размышления публициста.

В 1823 году Пушкин писал: — „Ода на смерть Наполеона“ мой последний бред. На днях я закаялся — и смотря и на запад Европы, и вокруг себя, обратился к евангельскому источнику и написал подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа“. В этой басне, как известно, одинокий сеятель свободы признавался, что, бросая живительное семя в порабощенные бразды, он только потерял, и время, и благие мысли, и труды... „Дары свободы стадам не нужны; их должно резать или стричь“ (1823).

Стихотворение, конечно, не выражало окончательного вывода, к которому пришел поэт в своих политических взглядах. Они были совсем не безнадежны; свобода народа оставалась ему дорога, но только в деле ее достижения поэт от всякой борьбы с властью отказался. Он говорил, что он „хранит про себя свой образ мыслей политический и религиозный и что он намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости (1826).

В 1831 году, испрашивая разрешение на издание газеты, а затем и политического журнала, Пушкин предоставлял свое перо в полное распоряжение государя.

Громить деспотизм и тиранов, и восславлять „вольность“ и „кинжал“ было легко. Но когда пришлось пафос

заменить размышлением публициста, то легкость трактовки темы исчезла. Надо было прежде всего ответить самому себе ясно и точно на вопрос — какая форма правления и какой социальный порядок для России желательны.

Пушкин стал вырабатывать свою политическую систему. Он работал над ней исподволь, большими урывками, не торопясь, так как знал, что огласить ее, даже при всей ее благонадежности, будет невозможно. Создавалась эта система не в виде импровизации. Ей предшествовало чтение и, как видно по каталогу библиотеки Пушкина — довольно разнообразное. В этой библиотеке уцелело не мало книг по политической истории, по истории культуры, по вопросам юридическим и экономическим, вплоть до социалистического учения гр. Сен-Симона. По крайней мере оба тогдашних катехизиса сенсимонизма, а именно „Религия сенсимонизма“ и „Доктрина сенсимонизма“ в руках Пушкина побывали. Конечно, упоминание Пушкиным имен Макиавелли, Монтескье, Бентама, А. Смита, Сея, Токевилля и других не свидетельствует еще об усидчивости его чтения, но у нас нет решительно никаких оснований в такой усидчивости сомневаться. За политической историей Эпохи Реставрации и монархии Луи Филиппа, Пушкин следил с большим вниманием; речами адвокатов на процессе министров Карла X был недоволен, считая их робкими; жалел, что не выступал Ламенэ...

Луи Филипп был у Пушкина „бельмом на глазу“ и ему хотелось „до него добраться“, т. е. хотелось войны с Францией. Все такие и подобные или политические выпады и суждения очень характерны для недавнего либерала, хоть они и подтверждали сказанные однажды поэтом слова: „вопросы политические для нас еще човость“ (1831).

В Михайловское Пушкин приехал (1824) „усталым пришельцем, истомленным судьбой. Он был ожесточен. Утраченная в бесплодных испытаниях юность мучила его, он вспоминал о строгости заслуженных упреков и горькие кипели в сердце чувства“. Эти чувства в деревне скоро улеглись и заслуженные упреки перестали его мучить.

О политических вопросах Пушкин не переставал думать, но пафос любви к свободе не мешал уже спокойному течению мысли. Читая Тацита в Михайловском и делая из него вы-

писки, Пушкин и для Тиберия нашел слова спокойные и более или менее верные. „Чем более читаю Тацита, тем более мирюсь с Тиберием. Он был один из величайших государственных умов древности“ (1825).

В стихотворении „Андре Шенье“ (1825) недавняя вера в спасительную силу кинжала была поколеблена. И в дальнейших размышлениях о французской революции стало все яснее проступать осуждение насилия. Значение революции — „союза ума и фурий“ — не умалялось, но террор, гильотина при гнусных рукоплесканиях черни, были выделены как жалкий эпизод великой эпопеи. Крики бешеной черни, остервененной против всего, что не есть чернь, осуждались как гадкая фарса в огромной драме (1831). Спустя три года осуждается уже не террор, а всякое насильственное действие. „Вспомни, говорит автор записок о Пугачевском бунте, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов без всяких насильственных потрясений“. Из этой общей сентенции делается вывод, который должен служить предостережением нам, русским. „Не приведи бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты или молодцы, или не знают нашего народа или уж люди жестокосердные, коим и своя шейка копейка и чужая головушка полушка“. В записках, относящихся к 1827—31 годам встречается одна очень загадочная запись, повидимому черновик этих слов о русском бунте. „Только революционная голова, подобная Марату и Пестелю может любить Россию так, как писатель может любить русский язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке“ т. е. только жестокосердный фанатик крови и истребления вроде Марата или теоретик идеолог, которому своя шейка копейка, вроде Пестеля, могут думать, что в России можно производить какие угодно политические опыты, основываясь на том, что Россия так молода и несовершенна, как и ее язык, нуждающийся в том, чтобы его творили.

Все эти отрывочные мысли могли свестись и сводились к одному выводу — ни о какой революции в России мечтать нельзя и не должно; свободу надо добывать иным путем, тем более, что в борьбе за нее недосчитаться главного действующего лица — народа, в котором было бы хоть какое-нибудь

политическое сознание. В стихотворении „Свободы сеятель пустынный“ (1823) народу в наследство из рода в род даны ярмо с гремушками и бич. В „Борисе Годунове“ (1825) повторена та же суровая мысль. Народ глуп и невежествен; народному плеску доверять нельзя. Суд черни — воплощение неблагодарности; милости народ не чувствует, за добро никому спасибо не скажет; грабь его и казни — тебе не будет хуже. Народ кровожаден; он — стадо. Самозванец, предатель или убийца — народу все равно; он кричит: „да здравствует“!

Характерно, что и в позднейших своих произведениях Пушкин не поручал народу никакой ответственной и активной роли. Поэт был очень высокого мнения о крестьянине, любил его как доброго знакомого, как деревенского соседа, он первый заставил музу заговорить об его раскрепощении. Но он никогда не доверял народной стихии. Он признавал сильные личности, которые из народной среды выделялись — разбойника, Стеньку Разина, Кирджали, героев песен западных славян и позднее Пугачева... Атаманов Пушкин до известной степени жаловал, но их банду он презирал.

Революция без народа, сознающего свои права и обязанности рисковала стать кровавой фарсой, бунтом, переворотом, который не заменял худое лучшим. Кажется, что Пушкин в этом смысле оценивал Июльскую Революцию, которую он обошел молчанием — едва ли из одних цензурных соображений. Что думал он о Карле X — неизвестно, но к его министрам был снисходителен, а Луи Филиппа не терпел. Он в данном случае совпадал во взглядах с императором Николаем Павловичем, который Луи Филиппу не прощал его вступления на престол и называть его братом отказывался.

Революция, как таковая, была развенчена и поэт перестал о ней думать. Вместе с отказом от нее — по крайней мере для России — последовал отказ и от республики, как желательной формы правления. Народопривства, которые нашим вольнодумцам грезилась во образе идеализованных Новгородских и Псковских порядков и разных Вадимов, которые этой вольнице служили — отошли в мир юношеских грез. Перед глазами был урок жизни. Первая республика кончилась военной диктатурой и империей; вторая революция — воцарением

Орлеанской линии; вся Европа была монархической, за исключением никем не замечаемой Швейцарии. Все престолы были заняты, и казалось прочно. Чтобы на каком-нибудь примере начать доказывать преимущества или невыгоды республиканского строя, надо было ехать за море, в Америку. И вот что Пушкин писал: „Америка спокойно совершает свое поприще... гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству; большинство нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами“ (1836). Мысли эти Пушкину не принадлежали, но характерно, как легко и охотно он под ними подписался.

Итак, оставалась та форма правления, к которой Россия за много веков привыкла и которая с 1815 года казалась под особым божьим покровительством.

Монархия, конечно, понятие очень растяжимое; она может быть деспотией или лишь декорацией, со всеми между этими двумя полюсами переходными ступенями. Европейские монархи времени Пушкина по своему строю были друг на друга не похожи, но общая политическая тенденция тех годов была определенная. Она клонилась в сторону усиления монархической власти за счет разных конституций. Единственная власть, которой не приходилось считаться ни с какими конституциями, если не считать областной польской, была власть царя. Она не исключала возможности конституции при условии, что такое новое уло-

жение будет исходить непосредственно от высшей власти. Пушкин мыслил себе монархию, конечно, не в форме просвещенного абсолютизма. Царь был не только охранителем строя, но и потенциальным его реформатором. В таком понимании роли монарха кроется, быть может, источник любви Пушкина к Петру. Царь может быть реформатором и революционером, когда найдет это нужным; и Пушкин одно время думал, что и император Николай Павлович явит пример такого монарха. В 1830 году он писал Вяземскому из Москвы: „Государь, уезжая оставил в Москве проект новой организации, контр-революции революции Петра. Правительство действует в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы. Я думаю пуститься в политическую прозу“. Какую контр-революцию надумал Николай Павлович — это не ясно, но в данном случае характерна пылкость воображения поэта. Когда-то Петр был „революционером“, как любил выражаться Пушкин; теперь судьба посылала России второго реформатора, призванного исправить некоторые ошибки первого. В библиотеке Пушкина хранится экземпляр сочинений Гейне, в котором Пушкиным отмечены чертой слова Гейне о Николае Павловиче. Гейне говорил, что свобода придет в Европу с востока и что император Николай I предназначен быть ее проводником.

Что Пушкин возлагал на Николая I большие надежды, это подтверждается, как мы видели раньше, многими стихотворениями и строками из переписки. Но само собою разумелось, что царская реформа должна была исходить свободно от самого царя. Насилие над царем недопустимо, так как он поставлен и должен стоять над всеми.

Царский голос не должен в воздухе теряться по пустому; как звон святой он должен лишь вещать великую скорбь или великий праздник (1825). В 1831 году, по поводу посещения государем военных поселений и усмирения мятежа, Пушкин писал: „сие решительное средство (т. е. личный приезд государя), как последнее не должно быть употребляемо. Народ не должен привыкать к царскому лицу, как обыкновенному явлению. Расправа полицейская должна одна вмешиваться в волнения площади, и царский голос не должен угрожать, ни картечью,

ни кнутом. Царю не должно сближаться лично с народом. Чернь перестанет скоро бояться таинственной власти. Доныне государь, обладающий даром слова, говорил один; но может найтись в толпе голос для возражения. Таковые разговоры неприличны, а прения площадные превращаются тотчас в рев и вой голодного зверя“. В ограждении царского престижа, Пушкин доходил даже до того, что осуждал простоту и неприужденность в государе. „Александр I первый ослабил этикет который не худо возобновить“ — писал Пушкин в 1834 году. „Конечно государи не имеют нужды в обрядах, часто для них утомительных, но этикет есть также закон“.

„Зачем нужно, чтобы один из нас стал выше всех, и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево... нужна высшая милость умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монарха — автомат, тоже что оркестр без капельмейстера“. Эти слова остаются, правда, на совести Гоголя, который передал их со слов Пушкина. Но вряд ли Гоголь в данном случае приписал своему другу свои мысли, тем более что эти мысли вполне покрываются многими подлинными словами Пушкина.

К чему политические права? „Без политической свободы жить очень можно“, писал Пушкин жене в 1834 году, и два года спустя в стихотворении „из Пиндемонте“ он говорил:

Не дорого ценю я громкие права
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспаривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне — свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это... слова, слова, слова...

К чему в самом деле эти слова, если высшая власть направлена на благо государства и народа? А что она направлена — тому доказательство на лицо: „Со времени возведения Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I правительство у нас всегда впереди на поприще образования и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво и неохотно. Не

худо было бы иным европейским государствам понять эту простую истину. Бурбоны не были бы выгнаны камнями и английская аристократия не принуждена была бы уступить радикализму“.

С такими взглядами на самодержавную власть Пушкин дожил до своей кончины. Только, однажды, в 1834 году, на эти ясные взгляды легла как будто какая-то тень. Один из приятелей Пушкина отметил в своем дневнике, что Пушкин будто-бы заявил ему, что он „возвращается к оппозиции“. Автор дневника сам от себя заметил, что это едва ли не слишком поздно для Пушкина. Что разумел Пушкин под словом оппозиция — если он, действительно, употребил это слово — догадаться трудно. Но дело шло по всем вероятностям не о политических убеждениях, а о личном недоразумении с царем, которое у Пушкина в этом году было. Ни в стихотворениях, ни в прозаических статьях следов от „оппозиции“ не осталось.

Если царь есть высшая власть, от которой должны исходить все начинания, то восстание против этой власти есть преступление. У себя на родине Пушкин пережил два таких восстания — декабрьское выступление и восстание Польши. При всей своей любви ко многим декабристам и при общности многих идей и симпатий, которые их связывали, Пушкин самый акт восстания осудил. Да и все почти участники восстания — как видно из следственного дела — его также осудили.

Польское восстание поэт порицал громогласно и сурово, совсем не желая вникать в его мотивы. Если бы его спросили в частной беседе — имеет ли народ культурный, в продолжении многих веков живший самостоятельной жизнью, народ вложивший свой немалый труд во всемирную литературу, имеет ли этот народ право на независимую политическую жизнь, — Пушкин, конечно, ответил бы утвердительно, он, который так недавно восторгался борьбой Греции за независимость. Но к Польше Пушкин был несправедливо суров. Еще в 1822 году — в эпоху его увлечения восстанием греков — он говорил, что уничтоженная Польша великое право Екатерины на благодарность русского народа. Еще до польского восстания, в 1824 году Пушкин набросал несколько жестоких строк, о которых он вспомнил, когда писал стихотворения „Клеветникам России“ и „Мицкевич“.

Певец! издревле меж собою
 Враждуют наши племена,
 То наша стонет сторона,
 То гибнет ваша под грозою.
 И вы, бывало, пировали,

 Кремля (позор) и плен
 И мы о камень падших стен
 Младенцев ваших избивали,
 Когда во прахе мы топтали
 Красу Костюшкиных знамен...
 И тот не наш, кто с девой вашей
 Кольцом заветным сопряжен;
 Не выпьем мы заветной чашей
 Здоровье ваших красных жен.
 И наша дева молодая,
 Привлекши сердце поляка,
 Не примет, гордостью пылая
 Любовь народного врага.
 Но огонь поэзии чудесный
 Сердца враждебные дружит...
 При песнях (радости) небесной
 Вражда взаимная молчит,
 И восстают благословенья,
 И на сердца нисходит мир...

Восстание 1830 года озлобило Пушкина до чрезвычайности и никогда, ни при одном выпаде речь его не была так патетична. Говорил в нем патриот, которому была дорога пролитая русская кровь, который опасался военных неудач, патриот не забывший 1812 года; говорил в нем и сын России, на которую европейская печать лила тогда всевозможные помои; оскорблен, уязвлен был и политик, система которого никак не могла помириться с совершившимся фактом. Подбавляя жару, вероятно, и знакомые, которые с Пушкины согласны не были. „В Москве нет народного общего мнения; ныне бедствия или слава отечества не отзываются в этом сердце России. Грустно было слышать толки московского общества во время возмущения; гадко было видеть бездушных читателей французских газет, улыбающихся при вести о наших неудачах“.

Двумя знаменитыми одами ответил Пушкин, и клеветникам России за границей, и тем, кто при взятии Варшавы — „опьяневшей польским бунтом“ — не вспомнил о Бородине (1831).

— Кичливый лях был противопоставлен верному россу. Славянский вопрос, которым Пушкин в сущности мало интересовался, был сведен к резкой формуле — иссякать ли России? или собирать в себе все славянские ручьи? Много было грома, угроз смертью, клеветникам, восхвалений колосса...

Даже приятелю своей юности Мицкевичу, с которым Пушкин когда-то у памятника Петра вел дружеские беседы о славянстве, он не простил его любви к родине, назвал его за его дружбу с иностранными клеветниками „угодником черни буйной“, забывая о всех тех мучениях, которые должен был переживать в эти годы его приятель... Когда в 1834 году польский историк Лелевиль в одной публичной речи приписал Пушкину две вольнодумных сказки, которые Пушкину не принадлежали, и по поводу их упомянул о том, что Пушкин живет в ссылке, на окраине государства — Пушкин был возмущен и говорил, что об'ятья Лелевиля для него более жестоки, чем ссылка в Сибирь и что комплимент ему, как автору вольнодумных сказок — печальное искупление его юношеских бредней (*chimères*).

Но вот Варшава пала, все что можно было сказать во славу родины, в ограждение ее от клеветников, в унижение ее врагов — было сказано...

В бореньи падший невредим,
Врагов мы в прахе не топтали,
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

И поэт сдержал свое обещание, считая польский вопрос исчерпанным. С саркастическим спокойствием он в 1831 году записал в своей записной книжке: „На днях скончался фон-Фок, начальник тайной полиции, человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное. Вопрос, кто будет на его месте важнее другого вопроса — что сделаем с Польшей“.

Представив одному лишь царю право вносить реформы в жизнь, надо было всетаки считаться с прошлым, и проверить, действительно ли самодержавный царь угадывал час и шел навстречу назревшим потребностям. Историю Петра Пушкин написать не успел, но в разных статьях, при случае, высказывался достаточно ясно. „Петр сам по себе один — целая всемирная история“ (1836). Реформа Петра — „великое благо и это благо могло быть осуществлено только царем самодержцем. Царь Петр — несомненный революционер божией милостью. Крутой и кровавый переворот, произведенный его мощным самодержавием ниспровергнул все старое, и европейское влияние разлилось по всей России. Россия вошла в Европу как спущенный корабль при стуке топора и при громе пушек. Предпринятые Петром войны были благодетельны и плодотворны, как для России, так и для человечества. Европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы. Петр был нетерпелив: став главою новых идей, он, может быть, дал слишком крутой оборот колесам государства. Меры революционные, предпринятые им по необходимости в минуту борьбы и которые потом он не успел отменить, надолго еще возымели силу закона, как напр. дворянство, даруемое порядком службы мимо верховной власти. Петру мы обязаны нашей культурой. Ему никогда никто ничего не подсказывал, присяжных советчиков у него не было. Все исходило от него самого и он имел только сотрудников. Царь, казнящий старину, которая перестала соответствовать народным нуждам, он был насадитель культуры и просвещения, которые в конце концов приведут к свободе“.

„Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. Все дрожало, все безмолвно повиновалось“. Смысл этой фразы, написанной в 1822 году, в эпоху либеральных мечтаний Пушкина не ясен, но направление мысли ясно: самодержавный царь, приобщая свой народ к культуре и образованию, тем самым ведет его к желанной свободе. Когда Пушкин писал эти строки он думал, что и подданные имеют право указывать народам путь к „свободе“, но затем он решил предоставить это дело всецело государю, несмотря на то, что ни один из наследников

Петра — как Пушкин мог убедиться — не умел и не хотел отгадывать момента, когда цари должны становиться революционерами.

Екатерину II Пушкин не любил. В 1822 году он дал уничтожающую характеристику ее царствования. „Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Самое властолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать и пороки своих властителей, она возбуждала гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было, ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Современем история оценит влияние ее царствования на нравы; откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости; народ угнетенный наместниками; казну, расхищенную любимцами; покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия... Екатерина знала плутни и грабежи своих любимцев, но молчала. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Екатерина уничтожила звание (справедливее название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку, а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением. Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие. Но перечитывая сей лицемерный „Наказ“ нельзя воздержаться от праведного негодования“.

Никакой поправки к этим суровым словам Пушкин за все последующие годы не сделал. В 1824 году он написал на Екатерину достаточно непристойную эпиграмму, а когда увлечение сввбодомыслием прошло, он сказал, что Екатерина поставила Россию на пороге Европы, вернул ей только ее титул, назвав ее „великою женою“ (1829) и „великою царицей“ (1836); иногда говорил в стихах об ее победах и орлах, но не

очень громогласно и восторженно; слегка похвалил ее за то, что она обуздала язык Радищева; и в „Капитанской Дочке“ вывел ее в роли доброй матушки царицы.

Переходя от бабушки к внуку, Пушкин должен был согласиться, что он также не подходил под идеал царя-революционера. О первой половине его царствования, когда Александр I имел, казалось, право называться реформатором, Пушкин, за исключением двух-трех слов, хранил молчание, чтобы не испытывать, вероятно, острого чувства разочарованного раздражения, а, может быть, и потому, что Пушкин вообще не любил говорить об Александре Павловиче, так как император его не жаловал и он ему платил тем же. В юные годы он избрал его мишенью многих очень язвительных эпиграмм, так что царь мог сказать ему, как шутливо сказано у Пушкина в его „Воображаемом разговоре с императором Александром I“ (1825): „Скажите, неужто вы все не перестаете писать на меня пасквили? Это нехорошо. Вы не должны на меня жаловаться. Признайтесь: любезнейший наш товарищ, король Галлии или император австрийский с вами не так бы поступили. За все ваши проказы вы жили в теплом климате“. Кроме „проказ“ была и попытка серьезного обличения. В стихотворении „Недвижный страж дремал“ (1823) владыка севера был изображен гонителем свободы. Тихую неволю несли в дар всему миру жребии, которые лежали в его увенчанной главе и кесарь предлагал народам целовать жезл России и поправшую их железную стопу.

Когда свободолюбивые порывы утихли, Пушкин оставил память царя в покое и только изредка, намеками или в частной переписке, говорил о нем. В 1825 году он в своем заточении в Михайловском, в день 19-го октября, собирался провозгласить обидный для царя тост:

Ура наш царь! Так выпьем за царя!
Он человек, им властвует мгновенье;
Он раб молвы, сомненья и страстей;
Но, так и быть, простим ему гоненье:
Он взял Париж и создал наш Лицей!

Пушкин с гордостью указывал Рылееву на то, что „в то время как о нем, о Пушкине, все говорили, о царе ни гугу! как будто на свете его не было“ (1825).

Жуковскому Пушкин писал: „В течение десяти лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто более тебя не имеет права сказать: глас лиры — глас народа. Следственно, я не совсем был виноват, подсвистывая ему до самого гроба“ (1826).

В позднейшие годы Пушкин об Александре I ронял слово лишь случайно и очень редко, но эти слова уже были почти-тельные. Он вспомнил об отказе царя преследовать будущих декабристов, когда в „Анжело“ (1833) говорил о добром Дуге, который считал несправедливым казнить то явное, давно терпимое зло, которое он — Дук — сам первый ободрял своим потворством.

Пушкин вспомнил также о том, как император слушал чтение Карамзиным его „Записки о древней и новой России“ и как после чтения он остался к писателю по прежнему милостивым и благосклонным; Пушкин видел в этом „величие“ государя.

В статье о Радищеве (1836) Пушкин отметил, что двадцатипятилетнее царствование Александра смягчило строгость наших законов и что царь был самодержец, умевший уважать человечество. В чем заключалось это уважение Пушкин не пояснил.

Наконец, в 1836 году, в последнем приветствии Лицею, Пушкин вспомнил о далеких годах, принесших столько разочарований:

Вы помните как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался;
Какой восторг тогда пред ним раздался!
Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!
.
И нет его — и Русь оставил он,
Внесенну им над миром изумленным.
.
И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал...

Итак, кроме Петра, ни один из русских самодержцев не оправдывал теории о царе, вовремя приступающем к реформе во всей полноте своей единодержавной власти.

Очередь была за „суровым и могучим“ императором Николаем Павловичем. Царь был еще молод и времени было много, чтобы путем революционных или контр-революционных актов вести свой народ к просвещению и к свободе.

Надежды сменялись разочарованиями и поэт, то бывал недоволен царем и сердился на него, то собеседнику говорил, что он царь славный, а самому себе — как в стихотворении „Герой“ — говорил: „утешься!!“

„Все Романовы — революционеры и уравниатели“ (niveleurs) — сказал Пушкин однажды в. к. Михаилу Павловичу.

XVII

ДВОРЯНСКИЙ ВОПРОС

„Каков бы ни был образ моих мыслей, писал Пушкин в 1830 году, никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием всякого образованного народа. Смотри около себя и читая старые наши летописи я сожалею, видя как древние роды уничтожались, как остальные упадают и исчезают, как новые фамилии, новые исторические имена, заступив место прежних уже падают, ничем не огражденные, и как имя дворянина, час от часу униженное, стало наконец в притчу и посмеяние даже разночинцам, вышедшим в дворяне и праздным, досужим журнальным балагурам“.

Слова эти были вызваны грубыми журнальными намеками на Пушкина и его друзей за их будто бы аристократическую заносчивость, самомнение, кружковую жизнь и претензию занимать привилегированное положение в литературе. Журналисты, конечно, не думали выступать на защиту каких-нибудь демократических принципов. Они просто не прощали Пушкину-художнику его духовного аристократизма, пользовались случаем лишней раз упрекнуть его в подражании лорду Байрону и вообще сказать ему неприятность, так как знали, что он очень дорожил своим дворянством. Они испортили поэту не мало крови, но дали ему повод ответить им несколькими художественными эпиграммами.

Пушкин имел особые причины дорожить своим дворянством, причины очень веские и ни с какой дворянской спесью не связанные. Он гордился тем, что имя его предков — как он утверждал — встречалось почти на каждой странице нашей истории. „Ныне огромные имения Пушкиных раздробились, — говорил он, — и пришли в упадок; последнее родовое имение скоро исчезнет; имя Пушкиных останется честным, единственным достоянием темных потомков некогда знатного боярского рода. Я русский дворянин и я знал своих предков, прежде чем узнал Байрона“ (1830-1831). „Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту Михаила Феодоровича, да два руку приложили за неумением писать, а я грамотный потомок их, что я? и где я? Эта мысль не давала Пушкину покоя. Он не искал благ, связанных с дворянским званием, ему было жаль не имений, которые перешли в другие руки — он был недоволен тем, что старое дворянство не играет никакой политической роли. „Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим, и у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездой двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т. е. историей общества... Говорят, что Байрон своей родословной дорожил более, нежели своими творениями. Чувство весьма понятное. Блеск его предков и почести, которые он наследовал от них, возвышали поэта; напротив того слава им самим приобретенная принесла ему мелочные оскорбления, предавая его на произвол молвы, ко всему равнодушной и ничего не уважающей“ (1835). Как часто в разных светских салонах Пушкин чувствовал на себе этот произвол молвы, не имея возможности отвечать на него, как отвечал лорд Байрон!

Но Пушкин не впадал в „постыдное малодушие“ — как он называл невнимание к славе предков (1827) и дорожил их скромной славой. Когда в каких-то словах князя Репнина, к тому же переданных третьим лицом, он усмотрел что-то для себя обидное, он от князя потребовал отчета в его, быть может, и не сказанных словах, объясняя свое требование „повелительной необходимостью“, так как он, Пушкин, принадлежит к той же истинной и древней знати, что и князь (1836). Когда случай свел Пушкина с в. к. Михаилом Павловичем, он сказал ему прямо в лицо: „Мы (т. е. старые дворяне) такие же

дворяне, как император и Вы“ (1834). Случаев таких было, вероятно, много и при своем остроумии Пушкин мог наговорить новоявленной знати, с которой он так часто сталкивался, много дерзостей и колкостей. Еще в 1822 году он говорил одному из своих великосветских знакомых — „ваш дед портной, ваш дядя повар“. А в 1830 году в стихотворении „Моя родословная или русский мещанин, вольное подражание лорду Байрону“, Пушкин приподнес русскому дворянству новейшей формации целый букет дерзостей. „Я не лейб-кучер, я по кресту не дворянин, мой дед блинами на торговал, из хохлов не прыгал в князя, не пел на клиросе с дьячками, царских сапогов не ваксил и не был беглым солдатом“...

Стихотворение это, рассказывают, страшно обозлило многих и легко возможно, что среди этих многих были и авторы того анонимного письма, которое Пушкина погубило. Не все могли прощать такие речи и, надо признаться, что сословная гордыня Пушкина не всегда заслуживала одобрения, в особенности когда она влияла на чисто литературную расценку. Случилось это напр. с известными повестями Павлова, в которых Пушкин видел „идеализацию лакейства“, истолковывая именно в этом смысле ту несомненно здоровую демократическую тенденцию, которую Павлов проводил в своих повестях.

„Приятель мой, писал Пушкин в „Египетских Ночах“, происходил от одного из древнейших дворянских наших родов — чем и тщеславился со всевозможным добродушием“. Но если приятель Пушкина был добродушен, то сам Пушкин в его положении добродушием не отличался.

Нет необходимости распространяться о том, как Пушкин дорожил своей славой поэта, но и ей дорожил он отчасти как славою дворянства, из среды которого вышло столько писателей. „Если дворянство не имеет никакого политического престижа, то за ним всетаки остается значение великой культурной силы. Наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. У нас словесностью занимались большей частью дворяне. Это дало особую физиономию нашей литературе; у нас писатели не могут изыскивать милостей и покровительства у людей, которым почитают себя равными (1835). Так! мы можем праведно гордиться: наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем

перед ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. Иностранцы нам изумляются, не понимая, как это сделалось. Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием; мы не хотим быть покровительствуемы равными — вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин. Дьявольская разница!“ (1825).

Но Пушкин довольствоваться литературной славой дворянства не желал. Он мечтал о совсем иной его роли. Ему хотелось для дворянства роли политической и все его рассуждения о дворянстве — разрозненные части целого, ненаписанного, незаконченного трактата чисто политического содержания, трактата, который должен был непосредственно примыкать к тому, что Пушкин писал о самодержавной власти.

Наше дворянство Пушкин делил на две группы, на дворянство родовое, старинное, которое существовало еще в допетровской Руси и на новое дворянство, выдвинувшееся после Петровской реформы. Дворянство старое разорено и обезличено. Дворянство новое, оно на виду, и если никакой политической власти не имеет, то занимает всетаки привилегированное положение в государстве.

Наше старинное дворянство, по причине раздробленных имений составляет у нас род среднего состояния, почтенного, трудолюбивого и просвещенного (1831). Добродетели в нем есть, но нет ни блеска, ни силы; оно упало в неизвестность, стало дворянской чернью, хоть и считает своими родоначальниками Рюрика и Мономаха — не так как ныне властвующая аристократия, которая с трудом может назвать и своего деда. Падение старого боярства и возвышение новой аристократии началось с Петра. Теперь дворянское достоинство доступно каждому. Военная и статская служба, чины университетские вводят в оное людей прочих званий (1830). Или дворянство не нужно в государстве или должно быть ограждено и недоступно, иначе как по собственной воле государя. Если в дворянство можно будет поступать из других сословий, как из чина в чин не по исключительной воле государя, а по порядку

службы, то вскоре дворянства не будет существовать или (что все равно) все будет дворянством.

Как изменилась Москва!! „Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее сословие, вельможи оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству. Некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое из всех провинций с'езжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка и везде была толпа. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками. Куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники? — Все исчезло. Ныне в присмирившей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травой и садом, запущенном и одичалом. Под вызолоченном гербом торчит вывеска портного, великолепный бель-этаж нанят мадамой для пансиона. На всех воротах прибито об'явление, что дом продается. Улицы мертвы; редко по мостовой раздается стук кареты. Подмосковные деревни также пусты и печальны: роговая музыка не гремит в рощах Останкина; плоские и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травой, а бывало уставленных миртовыми и померанцовыми деревьями. Барский дом дряхлеет. Московские балы!!.. Увы! Кавалеры набраны кое где — и что за кавалеры! Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга. Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом. Но обеднение Москвы показывает и другое — обеднение русского дворянства, происшедшее частью от раздробления имений, исчезающих с ужасной быстротой, частью от других причин“... (1835).

Об этих „других“ причинах Пушкин умолчал в статьях, которые предназначались к печати, так как эти причины были политические. Пушкин думал, что если бы дворянство, и при том старое, играло в государстве ту роль, какую ему надлежит играть, то такой картины увядания дворянства бы не случилось и народ от этого только бы выиграл.

Взгляды Пушкина на политическую роль старого дворянства дошли до нас в форме программ (1830—1832) и разных

отрывочных заметок. Привести их в систему вряд ли возможно, но общий ход мыслей Пушкина — ясен. Недостает, впрочем, главного — хотя бы беглого указания на ту юридическую форму, в какую облеклось бы желательное ему отношение дворянского сословия к высшей власти и к народной массе. Боярская дума, дворянский сенат, палата перов? — об этом ничего не сказано. Сказано только, что существующее положение не отвечает нуждам момента, и что оно опасно.

„Потомственное дворянство есть высшее сословие народа, т. е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы, с целью иметь мощных защитников (народа) или близких и непосредственных к властям представителей“.

„Дворянство должно получить приготовительное воспитание. Оно должно учиться независимости, храбрости, благородству, чести вообще. Эти качества нужны и народу, но народу нет времени развивать их, и потому этим должно заняться дворянство, которое является охранителем (*la sauvegarde*) класса трудящихся“.

„Не должно быть, ни аристократии прав т. е. диктатуры дворянства, ни рабства народа“.

„Наследственные преимущества высших классов общества суть условия их независимости“.

„Петр I — наш Робеспьер и Наполеон, воплощенная революция. При нем началось падение дворянства. Вот уже 150 лет, как табель о рангах выметает наше дворянство и только царствующий ныне император — первый поставил, хотя и очень слабую, преграду развитию демократии, которая хуже американской“.

„Чины уничтожили дворянство, а плутовство уничтожило майораты“...

„Старое дворянство заменялось новым. Деспотизм взял новых дворян на содержание, окружил себя ими в целях подавления всякой оппозиции и всякой независимости. Новая аристократия после Петра неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастью хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и

существование народа не отделилось вечной чертой от существования дворян“.

Феодализм н о в о г о дворянства Пушкин считал великим злом, но ничего не имел против феодализма, если бы старое дворянство осталось на своем месте. „Феодализм, говорил он (1830), мог бы развиваться (в допетровской Руси), как первый шаг учреждений независимости (общины были бы второй), но он не успел. Он рассеялся во времена татар, был подавлен Иваном III, гоним, истребляем Иваном IV. Место феодализма заступила аристократия (т. е. боярство), и могущество ее в междуцарствие возросло до высочайшей степени. Она была наследственная, отселе местничество. При Феодоре меньшее дворянство уничтожило местничество. С Феодора и Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сего дня“. Царствование Александра Павловича нас вперед не двинуло, и самый видный государственный деятель первой либеральной половины этого царствования — Сперанский, значения дворянского вопроса не понимал, так как был „мятежный попович“ (porovitch turbulent) и „невежда“.

Итак, если бы наше старое дворянство устояло в борьбе с самовластьем и в особенности не было бы оттеснено дворянством новым, в котором нет чувства независимости, то мы постепенно пришли бы к установлению „свободного“ правового порядка.

Теперешнее же положение — оно представляет не малую опасность.

„Падение постепенное дворянства. Что из этого следует?“ — спрашивал Пушкин, и отвечал: — „Восшествие Екатерины II, и 14 декабря и т. д.“ Это „и т. д.“ очень характерно. В одном разговоре с в. к. Михаилом Павловичем Пушкин заметил, что „наше теперешнее дворянство среднего состояния т. е. старинное и гибнущее с его имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями; с просвещением, с ненавистью против новой аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатство“ — элемент в государстве очень опасный. „Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14-го декабря? одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много“ (1834).

Пушкин понимал, что мысли по этому вопросу надо хранить про себя, а между тем они ему были очень дороги.

Он мог, впрочем, оставив в стороне всякие политические соображения, выразить свою основную мысль в художественных образах — что он и сделал в „Медном Всаднике“ (1833) и в „Родословной моего героя“, которая служит как бы введением к поэме. „Родословная“ — развитая в стихах мысль об обеднении старого дворянства и сожаление о том, что

родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава;
Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осел...

Сама поэма — ряд картин и образов, частью поясняющих основную мысль, частью отношение к ней не имеющих: Петр на берегу пустынных волн, картина Петрополя, описание наводнения 1824 года, маленький жанровый этюд из жизни Галерной гавани и над всем этим скачущий на бронзовом коне всадник.

В окружении исторических фигур и событий разворачивается личная трагедия впавшего в бедность родовитого дворянина, рассудок которого помутился, когда в наводнении погибла его невеста. Реформа Петра довела этого дворянина, уже не „среднего“, а низшего состояния до нищеты, а творение Петра отняло у него последнее, чем он дорожил в жизни. В безумии, жалкий потомок знатного рода грозит Петру судом потомства. „Ужо тебе“! кричит он медному всаднику, как и Пушкин однажды сказал Петербургу: „ништо тебе“!

Есть сведения, что замысел поэмы был первоначально более сложный — и это вполне вероятно. Царь Петр, его реформа, Петербург и его значение для России, наконец великан на бронзовом коне рядом с мелким чиновником, его Парашей и уничтоженным домиком на взморье производят не вполне гармоничное впечатление.

Пушкин любил отступления, и такие в „Медном Всаднике“ были. Касались они реформы Петра и взаимоотношения России и Европы.

В том виде, в каком поэма сохранилась, она, помимо ее художественных красот, ценна как образец неуловимой тайны творчества: чисто политическая мысль, дающая толчек к созданию символов и картин с натуры.

XVIII

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

В вопросе о положении крестьян Пушкин держался взглядов очень ясных. Рабство он осудил с юношеских лет, осуждал его всегда и перед самой смертью поставил себе такое осуждение в заслугу. Б о р ц о м за освобождение крестьян он не был, как и огромное большинство тогдашних просвещенных и гуманных людей, т. е. своих крестьян на волю он не отпустил, в своих имениях никаких реформаторских опытов не делал, проектов освобождения не писал и в печати по этому вопросу открыто не выступал. В набросках его политических статей — на крестьян очень мало указаний. Никто не обвинит его за такую тактику. Времена, в особенности после 14-го декабря, были совсем неблагоприятны для публицистики этого рода и всякое смелое выступление в этом смысле могло только напортить делу, т. е. усилить подозрительность власти. Император Николай Павлович считал крестьянский вопрос своим личным делом, думал о нем, во вторую половину царствования, собирал даже секретные совещания, но подданным своим рассуждать на эту тему не позволял. Пушкин на царя надеялся, ничего ему подсказывать не желал и ждал. Помочь как-нибудь своим крестьянам в улучшении их быта Пушкин не мог, так как два его родовых имения — весьма незначительные — были разорены его отцом, крестьяне в очень „жалком“ состоянии, а сам он вечно в долгах, почти без всяких доходов, кроме литературного заработка и ничтожного жалованья.

Пушкин мог бы, не касаясь политики, говорить об участии крестьянства, мог стать художником-бытописателем крестьянского горя; таланта бы на такое бытописание хватило, хватило бы может быть и желания, но в цензурном отношении оглашение таких литературных опытов было немыслимо, и кроме

того и художник, при его правдивости, чувствовал бы себя неловко в роли обличителя помещиков. Пушкин отлично знал как живут помещик и крестьянин в обоюдном соседстве. Знал и жестокие стороны этой жизни, и мягкие. Можно было осуждать рабство, но, говоря о людях жестоких, не упомянуть о людях гуманных (а среди знакомых Пушкину помещиков такие были) художник не мог. Запротестовала бы его совесть правдивого писателя.

Задача была трудная и Пушкин старался этим матерьялом пользоваться как можно меньше и реже, но всегда держа весы в равновесии.

За крестьянина можно было заступиться иным путем — доказать или показать, что он, как человек известного склада ума и известных душевных качеств, ничем не хуже других, несмотря на условия жизни, столь неблагоприятные для развития его разума и нравственности. И Пушкин так и поступил. Он был, пожалуй, нашим первым „народником“. Икон с крестьянина он не писал, но он никогда не хулил его и говорил о нем всегда как об умном, сильном и чутком душой человеке. Он осуждал „народ“ только тогда, когда в нем пробуждались стихийные страсти или стихийное безразличие.

С большой осторожностью говорил Пушкин о крестьянах, отчетливо понимая, как неуместная защита может навредить.

В 1819 году была написана знаменитая „Деревня“ — один из искренних отзвуков тогдашней молодежи на либеральный идеализм первой половины Александровского царствования. На живописных холмах рассыпанные хаты, бродящие стада, полные овины, везде следы довольства и труда, и рядом с этим губительный позор невежества, дикое барство, насильственная лоза, насилие над трудом, собственностью и временем земледельца; рабы и неумолимый, развратный владелец... „Друг человечества взывал к царю, прося его поторопить восход зари просвещенной свободы“. Царь благодарил певца за „добрые чувства“. Прошло три года (1822) и на этот раз не поэт, а публицист заносил в свою тетрадку: „Если бы гордые замыслы новой аристократии совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния. Одно только страшное потрясение могло бы уни-

чтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян; желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла и твердое мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы“.

В 1823 году, вспоминая эти строки, Онегин легким оброком заменил ярем старинной барщины. Других злоупотреблений он в своем имении, кажется, не нашел и, присматриваясь к хозяйству своих соседей Лариных, тоже никаких жестокостей не мог отметить.

Гуляя в Михайловском, зимой 1826 года, Пушкин думал о „крепостной нищете“. Но что мог он сделать, когда сам тогда был почти-что нищим ссыльным? „Небрежение, в котором мы оставляем наших крестьян непростительно“, писал Пушкин в 1830 году. „Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы оставляем их на произвол плута прикащика, который их притесняет, а нас обкрадывает; мы проживаем в долг наши будущие доходы, и разоряемся: старость нас застаёт в нужде и хлопотах“. Пушкин намекал, вероятно, на своего родителя, мирного, но беспутного человека. Сам он неоднократно порывался жить в деревне, говорил, что есть тысяча причин повелевающих нам присутствовать в наших поместьях, а не разоряться в столицах, — но жизнь слагалась так, что ехать было невозможно, так как в деревне жить с семьей было не на что. Но „холопы“, как он выражался иногда на тогдашнем языке — без всякого желания людей обидеть — у него из головы не выходили.

В 1830 году он сделал первую и единственную попытку написать большую жанровую картину из быта деревни, но „История села Горохина“ естественно должна была остаться отрывком. Пока Пушкин рассказывал биографию автора „Истории“ И. П. Белкина, описывал его проезд в заброшенную усадьбу, говорил об его любви к литературе и о том, как он стал сочинителем — все шло гладко. Но когда пришлось писать о судьбах самого села Горохина, то, набросав несколько картинок, в которых не упоминалось ни о страданиях народа, ни о жестокостях помещика, Пушкин остановился. Остановили его не столько цензурные соображения, сколько невозможность вести рассказ в том духе, в каком он был задуман

и начат. В веселом, смешливом, сатирическом тоне нельзя было писать о крепостной деревне.

И Пушкин предпочел заставить того же И. П. Белкина рассказывать свои невинные сказки. Знакомя читателя с Белкиным, Пушкин счел нужным сказать, что это был человек мягкосердечный, который запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный его покойным родителем. Сменив исправного и расторопного старосту, которым крестьяне его (по их привычке) были недовольны, Белкин поручил управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверие искусством рассказывать истории. Крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; „но и тут крестьяне, пользуясь его слабостью, на первый год выпросили себе нарочитую льготу; а в следующие — более двух третей оброка платили орехами, брусникой и тому подобным; но и тут были недоимки“.

В своих повестях Иван Петрович не имел случая говорить о страданиях народа, которых, вероятно, и не видел. Он не сказал также ни одного жестокого слова и о помещиках; и все о ком он рассказывал, действительно, суровых слов не заслуживали. Один среди них, молодой барчук, оказался даже настолько демократически настроенным, что влюбившись, правда в мнимую крестьянку, но которую он принимал за настоящую, решил жениться на ней и жить своим трудом. В этом своем решении он упредил задолго наших народников 60-тых и 70-х годов и также как они „чем более думал о своем намерении, тем более находил в нем благоразумия“.

Суров и своенравен был Кирила Петрович Троекуров и в обращении с крестьянками держался мусульманских правил, но с крестьянами он обходился лучше, чем со многими ближними.

В „сценах из рыцарских времен“, где по первоначальному плану должно было быть описано восстание крестьян, которыми руководил „молодой поэт“ есть такое характерное выражение одного из действующих лиц: „Всякое состояние имеет свою честь и свою выгоду: мы мешаем той и другой, когда оставляем то состояние, в котором родились; дворянин воюет и красуется, мещанин трудится и богатеет; рыцарь почтен на

коне и в замке за решеткою своей башни, но ему неприлично считать барыши. Купца почитает народ в его лавке, но он был бы смешон на турнире“. О крестьянах не сказано ни слова и им оставаться в своем состоянии не предложено.

Везде и всегда, где представлялся случай, Пушкин старался наводить читателя на одну и ту же мысль — о меньшем брате. Но он не хотел озлобить старшего. К восстаниям, во времена ли рыцарские, или времена Самозванца и Пугачева его душа не лежала. Но и в данном случае он был справедлив и давал предупреждения. В „Капитанской Дочке“ Пушкин повторил слова Радищева: „Я заметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда положит конец своему терпению, то ничто не может удержать его, чтобы не преклонился на жестокость“. А в статье о книге Радищева, в добавление к одной из ее мрачных картин, Пушкин упомянул об одном помещике, которого он знал лично. „Этот помещик был род маленького Людовика XI. Он был тиран, но тиран по системе и по убеждению, с целью, к которой двигался он с силою души необыкновенной и с презрением к человечеству, которого он не думал и скрывать. Своих крестьян (2000 душ) он нашел „избалованными“ своим предшественником. Первым старанием его было общее и совершенное разорение. В три года привел он крестьян в жестокое положение. Крестьянин не имел никакой собственности; он пахал барскою сохою, запряженной барскою клячею; скот его был весь продан; он сидел за спартанскую трапезу на барском дворе. Дома не имел он ни щей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавалась ему от господина. Как бы вы думали? Мучитель имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их обогатить, возвратить им собственность, даровать им права! Судьба не позволила ему исполнить его предначертания. Он был убит своими крестьянами во время пожара“...

Предупреждения были в „Истории села Горохина“. В программе „Истории“ слово бунт было упомянуто несколько раз. Кажется, что и „История Пугачевского бунта“ была отчасти предупреждением. Говоря о ней в одном черновом письме к Бенкендорфу, Пушкин писал: „Я смею надеяться, что сей

исторический очерк может показать любви его величества о событиях пути“...

Переходя от социального и экономического положения крестьянства к вопросу о народной психике вообще, Пушкин решил дать все свои показания в пользу крестьянина. Об его невежестве и преступности Пушкин умалчивал, если того не требовала правда рисуемых им исторических картин. Им руководили в данном случае, по всем вероятностям, два соображения.. Ему хотелось показать, что для социального строительства, при реформаторе самодержавном царе, при старинном дворянстве, охраняющем интересы народа и пользующимся известными политическими правами, крестьянство представляет по своим моральным и умственным качествам, почву вполне удобную для разных реформ, которые в конце концов приведут к свободе всех граждан. Пушкину хотелось также показать, что крепостное состояние народной души не растлило. Если за время рабовладения помещикам удалось удержать крестьянскую психику на известной высоте, то за дальнейшее — когда верховная власть найдет удобный момент для реформы — можно быть спокойным.

В статье о книге Радищева, Пушкин писал: „Радищев тужит о судьбе русского крестьянина, не употребляющего сахара. Все это было тогдашним модным краснословием. Описывая русскую избу, он начертал карикатуру. И в этой картине он упоминает о бане и квасе как о необходимостях русского быта. Это уже признак довольства. Замечательно и то, что Радищев заставляет свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай и оканчивает картину нужды и бедствия сею чертою: „и начала сажать хлебы в печь“. Фон Визин лет 15 перед тем путешествовавший во Франции говорит, что по чистой совести судьба русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского земледельца. Прочтите жалобы английских фабричных работников: волосы станут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! Какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! У нас нет ничего подобного. повинности вообще не тягостны, подушная платится миром, барщина определена законом, оброк не раззорителен. Крестьянин промышляет чем он вздумает, и уходит иногда за 2000 верст

вырабатывать себе деньги. Злоупотреблений везде много. Уголовные дела ужасны“ (1836).

„Взгляните на русского крестьянина — есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? Об его смелости и смысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна, проворство и ловкость удивительны, никогда не заметите вы в нашем народе, ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. В России нет человека, который не имел бы с о б с т в е н н о г о своего жилища. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши, у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу уходит он в баню, умывается по несколько раз в день. Судьба крестьянина улучшается со дня на день, по мере распространения просвещения. Избави меня боже быть поборником и проповедником рабства. Я говорю только, что благосостояние крестьян тесно связано с пользой помещиков и это очевидно для всякого. Злоупотребления встречаются везде“.

Эти же мысли Пушкин повторил и в маленькой статье „Разговор с англичанином о русских крестьянах“ (1833-1835). К англичанину — потомку тех благородных лордов, которых еще в XVIII веке писатели развозили по Европе, как образец благородства ума и сердца — Пушкин обратился однажды с вопросом: „что может быть несчастнее русского крестьянина“? Англичанин отвечал — „крестьянин английский. Вы положение вашего крестьянина называете рабством. Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простора действовать“. „Живали ли вы в наших деревнях“? спросил Пушкин. — Я видал их проездом и жалею, что не успел изучить нравы любопытного вашего народа“. „Что поразило вас больше всего в русском крестьянине?“ — „Его опрятность и свобода“. „Неужели вы русского крестьянина почитаете свободным“? — „Что может быть свободнее его обращения с вами? Вы не видали оттенок подлости, отличающей у нас (в Англии) один класс от другого. Вы не видали раболепства бедного перед богатым, повиновения перед властью“.

Зачем понадобился Пушкину этот англичанин, не бывавший в нашей деревне? Затем ли, чтобы снять с себя часть ответственности за свои речи, или чтобы покрепить их сомни-

тельным авторитетом? Но обе статьи, и статья о книге Радищева и этот странный разговор, должны были если не опровергнуть, то обуздать хулителей деревенских порядков. Рабство не искалечило крестьянской души, и остается только ждать когда время свое сделает.

„Конечно, должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного“.

Эти слова относятся не к одним только политическим выступлениям в роде декабрьского, на которое Пушкин намекал, когда писал их. Они относятся ко всем людям, которые решаются открыто высказывать свои суждения и желают помочь власти в ее работе. Сановники и чиновники — тех сама служба держит в определенных рамках и указывает им должные пределы для рвения — хотя может, конечно, случиться, что какой-нибудь „мятежный попович“ пожелает опередить время, что, впрочем, случается редко. Но помимо людей непосредственного дела, существуют еще люди слова — писатели, журналисты, критики, публицисты, вообще люди, которые стремятся влиять на образ мыслей своих современников. Как они должны понимать свою задачу? „Дружина ученых и писателей, говорил Пушкин, стоит всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности ремесла. Таким образом и возрастает могущество общего мнения, на котором в просвещенном народе основана чистота его нравов“ (1831).

„Общее“ — мы сказали бы „общественное“ — мнение находится всегда под непосредственным давлением писателя; и Пушкин часто говорил об обязанностях, которые ложатся на писателей, и требовал от них — как видно из его стихотворений и статей, в которых он говорил о цензуре — большой выдержки и осмотрительности, в особенности от тех из них, которые касаются в своих сочинениях вопросов нравственных, в том числе и общественных.

И Пушкин был суров к публицистам, которые, как ему казалось, не умели сдерживать своего темперамента. Он сам, говоря о таких писателях, не всегда смог сдержать своего. „Телеграф“ запрещен, писал он в своем дневнике 1834 года.

„Уваров представил государю выписки веденные несколько месяцев и обнаруживающие неблагонамеренное направление. Мудрено с большей наглостью проповедывать якобинизм перед носом правительства. Но Полевой был баловень полиции, он умел уверить ее, что его либерализм пустая только маска“. Положим, Пушкин сердился на Полевого, и за Карамзина, и за самого себя, но все-таки — я к о б и н и з м Полевого!!

В таком же „якобинизме“ обвинял Пушкин и Радищева. И, конечно, с бóльшим правом. Две статьи, которые Пушкин написал о Радищеве и его книге в 1833-36 годах (они увидели свет много лет спустя после смерти Пушкина) — некоторого рода загадка. Они очень резки по тону и не справедливы по психологической и исторической оценке писателя и его образа мыслей. Обыкновенно тон этих статей и их направление объясняют своего рода хитростью, к которой будто бы прибег Пушкин, чтобы провести свою статью через цензуру и направить внимание читателя на книгу, которая решилась впервые, еще в царствование Екатерины, заговорить открыто о рабстве народа. Но если Пушкин хитрил, то он перехитрил. Если же понять статьи в прямом смысле, не читая между строками, то смысл их ясен и прост. Пушкин осуждал публициста, который упреждая время, нанес своей книгой вред, и самому себе, и делу, которому хотел служить. Радищев раздражил власти и насторожил их уши.

В годы своей свободолобивой юности, Пушкин был увлечен Радищевым. Писатель, безумно смелый в обличении самого существенного зла, поплатившийся за свою смелость тюрьмой и ссылкой, и затем, под тяжестью воспоминаний покончивший с собою — был личностью совсем в духе певца „Вольности“ и „Кинжала“. Еще в 1815 году Пушкин в поэме „Бова“ (сюжет ее взят у Радищева) сочетал два любимых им имени Вольтера и Радищева. Тема „Оды на вольность“ была подсказана Пушкину также Радищевым и из его „Оды на вольность“ запомнил не мало „сильных“ стихов. В 1822 году Пушкин вспоминал о том, как Радищев, „рабства враг“, сумел избежать цензуры. Наконец, в 1823 году он выговаривал Бестужеву за то, что тот в своем „Обзрении словесности“ забыл о Радищеве. „Как можно в статье о русской словесности забыть о Радищеве? Кого же мы будем помнить? Это молчание непрости-

тельно“. И вот, спустя 14 лет, когда пришлось заговорить о Радищеве, у Пушкина не нашлось для него признательного слова. Некоторые главы книги Радищева послужили Пушкину предлогом для совсем посторонних размышлений, другие главы не понравились своим тяжелым слогом; по поводу иных глав Пушкин оспаривал правильность литературных суждений Радищева. С мыслями Радищева о рекрутском наборе Пушкин согласился; но по поводу картины продажи крестьян заявил, что он не станет теряться за Радищевым в его „надутых“, хотя бы искренних мечтаниях. Главу о цензуре Пушкин похвалил, но заметил Радищеву, что он не дооценил инквизиции, которая была „потребностью века“.

Не надо забывать, что все эти отзывы о книге Радищева были лишь черновые наброски и опыты мысли. Но в 1836 г. Пушкин эти черновые наброски переработал и в новой статье о Радищеве сделал некоторые уступки. Но суровое осуждение он назад не взял. „Нововводитель в душе“ (т. е. революционер) был развенчан. Беспокойное любопытство, более нежели жажда познаний, было отличительной чертой его ума. Напечатание книги — этого сатирического воззвания к возмущению — в домашней типографии и ее продажа — сумасшествие. „Мы никогда не почитали Радищева великим человеком, писал Пушкин, забывая о своей юности. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извинительным, а книга весьма посредственной книгой, но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным, политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестью. Но может быть сам Радищев не понял всей важности своих безумных заблуждений? Как философа умствования его пошлы и не оживлены слогом. Радищев, хотя и вооружается против материализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма. Что же касается его публицистики, то сетование его на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и пр. преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. В Радищеве отразилась вся французская философия его века, — скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический ци-

низм Дидрота и Реналья, но все в нескладном и искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Радищев истинный представитель полупросвещения... Он как будто желает раздражить верховную власть своим горьким злоречием: не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ, как явное беззаконие: не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян?.. Все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна; ибо правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы, чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью“.

„В книге Радищева есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви“.

Можно спросить — как такой тонкий психолог, как Пушкин, такой строгий судья Екатериненских времен, не чувствовал искренности в книге Радищева и любви в этом смельчаке? Но Пушкин был искренен, если, действительно, верил (а он в те годы верил), что всякое „фанатичное“ выступление принесет самому делу больше вреда, чем пользы.

Перед тенью Радищева, всетаки, надо было извиниться, и Пушкин извинился. В „Памятнике“, в первоначальной редакции этого прощального своего стихотворения (1836), он писал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу,
И милосердие воспел.

ДЕРЕВНЯ. ПЕЙЗАЖ. СКАЗКА.

О rus! О Русь! — шутил Пушкин.

Нельзя сказать, что он любил жить в деревне; он очень любил наезжать в нее, любил мечтать о ней, когда уставал от города, когда попадал в полосу разных неприятностей и тревог или когда его утомляла „жизни мышья беготня“. Как место отдыха и в особенности как удобная обстановка для работы — деревня Пушкину нравилась, но в деревне он думал о столице, а в столице о деревне. „Уединение“ он стал восхвалять, как только взял перо в руки. Мальчиком, с чужого, конечно, голоса, воспевал он тихую жизнь на лоне природы и „простых“ людей. 15-ти лет он уже жаловался на то, что град Петра его „утомил“, что кружится он в нем без дела, в хлопотах, зевает в театре и на пирах... ему „ленивому философу“ хотелось уйти под сень престарелых лип и черемухи, сидеть у ручейка и вдыхать аромат фиалок и ландышей... Вергилий, Гораций и Лафонтен были всегда к его услугам, как и соседи — добрая старушка и майор очаковских времен, которые с успехом могли заменить ему столичных знакомых. Можно пожертвовать и славой — рассуждал „философ“ — спокойствие лучше, предпочтительнее... А как хорош сон, здоровый сон, после прогулки.

Во славу всех таких красот уединение на лоне природы или в каком-нибудь уголке — Пушкин исписал много страниц в своих лицейских тетрадах, но когда „пиит“ вновь превращался в лицеиста, он говорил, что „уединение в самом деле вещь очень глупая, на зло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы жилали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину“ (1816). Надо было много пережить, чтобы по настоящему полюбить уединение. И угар светской жизни после окончания Лицея и скучная суета ссылки на юге, на короткий срок примирили Пушкина с деревенской тишиной. Он уверял, что — в отличие от Онегина — он именно для этой тишины и был рожден; что летучей славы он не ловит, что всегда вспоминает о счастливейших днях, когда „в глуши звучал звучнее голос лирный и были живее творческие сны“.

Но и в данном случае Пушкин подкрашивал воспоминания. „Вышедши из Лицея (1817), рассказывал он, я тотчас уехал в деревню. Помню, как обрадовался сельской жизни, но все это нравилось мне не долго. Я любил и доньне (1824) люблю шум и толпу“. „Вот уже четыре месяца как нахожусь я в глухой деревне, пишет он из Михайловского (1824), скучно, да нечего делать. Уединение мое совершенно. Праздность торжественна, я знаком только с одним семейством; целый день верхом; вечером слушаю сказки моей няни, она единственная моя подруга и с ней только мне не скучно“. Кончились эти мирные годы (1826) и опять началась шумная и тревожная жизнь, и, опять грезилось деревенское уединение. Хотелось поселиться где-нибудь около Михайловского (1829), построить хижину (*chaumière*) перевести туда книги и жить там несколько месяцев в году (1831). Жене Пушкин писал, что готов плюнуть на Петербург, подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином! (1831). Накануне смерти он говорил жене, что пора, что сердце просит покоя, что он, усталый раб, давно замыслил побег в дальнюю обитель нег и трудов... „Скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню? Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь... религия... смерть“. Все это были мечты усталого человека. Он с осуществлением их не торопился и правильно рассуждал, что „юность не имеет нужды в оседлости“ (*at home*), но что зрелый возраст ужасается своего уединения“ (1836).

Покинуть столицу Пушкин не решался, хотя гневался на нее часто. После наводнения 1824 года, он — совсем как будущий герой его „Медного Всадника“ — грозил столице: „ништо проклятому Петербургу!“ „Я отвык от суеты и шума Петербурга и с трудом переношу его“ (1827). „Столица совсем не для меня, ни вкусы мои, ни мои средства к ней приноровиться не могут“ (1833). „Ты думаешь, пишет он жене, что свинский Петербург не гадов мне? что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами“ (1834)?

В 1835 году Пушкин совсем было решил перебраться в деревню, но остался в Петербурге.

Нельзя себе этого человека представить деревенским жителем, но легко представить себе, как поэтичны были его воспоминания о деревне. Детство в Захарове... сады Лицея...

уютный кабинет в деревне... завывание осенней бури и горящий камин, у которого, как ему грезилось еще в 1816 году, он читает Вольтера и Виланда, сочиняет стансы и сжигает их... Михайловское и няня... неожиданный приезд лицейских товарищей... Одинокое празднование лицейской годовщины, грустное, но такое вдохновенное... Мирные чувства, которые владеют душой, наплыв „благосклонности“ и „снисходительности“... Тригорское и цветник барышен, то уютное Тригорское, о котором поэт говорил, что и в чужих краях его душа будет бродить вокруг него, как тоскующая тень из глубины могилы тянется к милым... Малинники и веселая детская ватага... Болдино, колыбель стольких его произведений... Сколько во всех этих воспоминаниях было поэзии! И, конечно, как часто хотелось вновь пережить их.

Наконец и встреча с дворней, с мужиками — хоть Пушкин и знал, что они всегда готовы „перехитрить“ его — была ему приятна. „Я не корчу чувствительность — писал он в одном письме — но встреча моей дворни, хамов (это слово согласно тогдашней терминологии не должно понимать в дурном смысле) и моей няни ей богу приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности и пр.“

Времена, когда русский писатель ездил в деревню затем, чтобы наблюдать крестьянский быт и изучать крестьянскую психологию еще не наступили. Типы из крестьянской жизни были в литературе того времени большой редкостью и они никому не удавались; всегда в них была известная фальшь — сентиментальная или сатирическая. Фальши в поэзии Пушкина нет, но зато и типы, и картины из жизни простонародья почти что отсутствуют: — несколько этюдов с натуры в „Евгении Онегине“, в „Истории села Горохина“, в „Дубровском“, „Капитанской дочке“ и в двух-трех стихотворениях и балладах. Все эти образчики письма с натуры были большой литературной новинкой для того времени. Но этим богатейшим материалом Пушкин почти что не пользовался. Единственный вырисованный портрет из этой коллекции набросков, был портрет подруги его заточения—няни его и Татьяны. „Добрая подружка бедной его юности“, эта „дряхлая голубка“ — промелькнула в его стихах как какое-то видение из, в сущности, чужого ему мира. Но душу ее поэт уловил в двух, трех словах, и черты

лица ее и ее позы были схвачены с изумительной пластичностью. Деревенский пейзаж привлек внимание Пушкина в большей степени, чем сама деревня. Это был самый простой пейзаж, лишенный всяких эффектов. Пушкин очень любил его и часто его воспроизводил. Картины природы имели в глазах художника свою независимую красоту, помимо тех чувств, какие природа внушает человеку и какими он ее наделяет. Называя природу „равнодушной“ Пушкин не желал упрекать ее; он любил в ней это равнодушие, при ее вечной красоте. Он старался даже подражать ей в этом качестве, — так спокойны и бесстрастны были все его описания. Когда в молодости душа поэта кипела и разные книги ее горячили, его пейзаж обнаруживал некоторое волнение — будь это пейзаж в стиле Оссиана, западных сентименталистов, в стиле Байрона, или лакистов. В некоторых случаях такая тревога была подсказана и самой природой — кавказской или крымской, и сердечным волнением самого поэта, как это было в 1829 году, когда он скитался по Кавказу, думая о Москве. Во всех описаниях природы, Пушкину не родной, чувствовалось желание поэта заставить природу что-то выразить и сказать. Но когда перед ним раскидывались родные леса, поля, луга, реки и озера, он им ничего не подсказывал, а только любовался ими. И как мало нужно было для того, чтобы заставить его любоваться! Милый сад, и берег сонных вод, укромный огород с ветхой калиткой и обрушенным забором, зеленый скат холмов, прохлада лип и шумный кров кленов... Избушек ряд убогий, за ними чернозем, над ними серых туч густая полоса... На дворе у низкого забора два бедных деревца, обнаженных дождливой осенью... Картина грустная, но красивая в своем убожестве... И для могилы своей Пушкин не желал ни решетки, ни столбиков, ни урны, ни пирамиды, ...пусть, колеблясь и шумя, широкий дуб стоит на деревенском, родном кладбище...

На границе

Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога
Изрытая дождями, три сосны
Стоят. Одна по-отдаль, две другие
Друг к дружке близко. Здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунной ночи,
Знакомым шумом шорох их вершин

Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я, и перед собою
Увидел их опять; оне все те же,
Все тот же их знакомый слуху шорох;
Но около корней их устарелых,
Где некогда все было пусто, голо,
Теперь молодая роща разрослась;
Зеленая семья кругом теснится
Под сенью их, как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, — и вокруг него
По прежнему все пусто.

Здравствуй, племя

Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий, поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего...

Какое эпическое спокойствие при глубине лирического чувства!

В пейзаже Пушкина есть одна характерная черта. Пушкин всегда любил осень и зиму больше весны и лета. Меланхолия и тоска были для него вообще редкими переживаниями, и тем не менее серые тучи и снежные покровы заслоняли лазурь небес и зелень полей и лесов. Великорусской душе осень и зима сродни, и в красках весны и лета для нее мало типичного. Весенней и летней чувствительности, нежности и истомы поэт не любил. Они были ему приятны лишь в самые юные годы жизни, когда он, „провожая лето красно“ с грустью смотрел, как кружится мертвый лист и туман стоит на нивах пожелтелых. В последний раз Пушкин вспоминал о весне в 1828 году, когда прощался со своей молодостью.

Как грустно мне твое явленье,
Весна! весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжелым умиленьем
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!

Или мне чуждо наслажденье
И все, что радует, живит,
Все что ликует и блестит
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно,
И все ей кажется темно?
Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов?
Или с природой оживленной
Сближаем, думою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет... (1828).

Два года спустя, вырисовывая тщательно один пейзаж, Пушкин не нашел для весны поэтического слова, но зато сложил удивительный скорбный гимн в честь осени, о которой он так вдохновенно говорил еще в 1825 году, когда на его глазах лес ронял багряный свой убор и мороз сребрил увянувшее поле.

Дни поздней осени бранят обыкновенно;
Но мне она мила, читатель дорогой:
Красою тихою, блистающей смиренно,
Как нелюбимое дитя в семье родной,
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно:
Из годовых времен я рад лишь ей одной.

Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
Улыбка на устах увянувших видна:
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет;
Она жива еще сегодня — завтра нет.
Унылая пора, очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса!
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы
И отдаленные седой зимы угрозы...

Зима — она имеет свои страхи, когда буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, когда едешь в снежной глуши, где ни огня, ни черной хаты; когда мутно небо, ночь мутна и бесы мчатся рой за роем... Но не всегда же бывает зимой так смутно на сердце... Сколько в ней мужественного покоя, тишины, и сколько силы и размаха! Звонкая песня ямщика мила нам в чистом поле... Сребрится волнистый и рябой снег... вьюга утихла и под голубыми небесами снег лежит как ковер... Ель зеленеет сквозь иней... Речка блестит подо льдом... Конечно, бывают и скучные вечера: вьюга воет, свеча темно горит, стесняясь ноет сердце, по капле медленно глотаешь яд скуки и вдохновение не нисходит... Но напрасно Пушкин жаловался. Такие вечера были исключением, и чаще всего вдохновение нисходило на него в деревне, именно в осеннюю и зимнюю пору:

С каждой оченью я расцветаю вновь;
Легко и радостно играет в сердце кровь
Желания кипят; я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн...
И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображением,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне
Излиться наконец свободным проявленьем —
И мысли в голове волнуются в отваге
И рифмы легкие на встречу мне бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут... (1830).

Мир животных слабо представлен в пейзажах Пушкина. А поэт умел понимать язык животных и если бы захотел, то и жизнь их сумел бы представить в образах и в целых картинах. В дружбе жил он с птицами певчими и любил в Благовещение отворять их темницу. Он разгадал душу птички божьей, которая не знает ни заботы, ни труда, он ждал, когда первая пчелка вылетит из келейки медовой, видел он, как из под утренней белой зорюшки, весенней теплой порою, из дремучего леса выходила медведиха с малыыми детушками медвежатами... Осень и зима имели также свои звериные голоса. Волк с голодной волчицей выходил на дорогу и белобокая

сорока стрекотала под калиткой... Кони ржали, и лаяли охотничьи собаки...

Среди этих редких голосов, редко раздавался и голос человеческий — голос самой деревни.

А между тем перед народной массой Пушкин чувствовал себя должником, не только в общем смысле. Как публицист и историк он стремился по силам отплатить народу за его безымянную тяжелую работу поденного труженика. Но и как художник он признавал за собой известные обязательства.

Народному творчеству Пушкин был не малым обязан, и в выборе тем, и в оборотах речи, и в лексиконе слов.

С народной сказкой познакомила его обстановка старого барского дома; где няне из дворовых поручалось первоначальное воспитание детей. Об одной из таких нянь вспоминал он еще в 1817 году.

Умолчу-ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шопотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шолохнусь, бывало;
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя, ни ног, ни головы...

Наконец

Томленья сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты,
На ложе роз крылатые мечты
Волшебники, волшебницы слетали
Обманами мой сон обворожали;
Терялся я в порыве сладких дум,
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней —
И в вымыслах носился юный ум...

Такую мамушку, спустя несколько лет (1821), он возвел в поэтический символ и назвал своей первой музой.

Наперсница волшебной старины
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила,
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заморозила!

Народными преданиями, несмотря на установившуюся тогда у нас и на Западе литературную моду, Пушкин пользовался, однако, не часто. Богатыри, русалки, лешие, ведьмы в его творчестве гости довольно редкие, и после „Руслана“ только в музыкальной романтике „Русалки“ слышна народная сказочная тема.

Свободным вариациям на эти темы Пушкин предпочел их собирание и переложение. Он стал списывать народные песни и сказки (с какой целью неизвестно), стал сам их записывать (как напр. свадебные песни, которые он записал для Киреевского). Некоторые песни он перевел на французский язык, другие, славянские песни, с французских подражаний переводил на русский (1832-33), наконец стал просто перекладывать ходячие сказки в стихи — размером более или менее приближающимся к народному. Так переложил он сказку „о женихе“ (1825), „о царе Салтане“ (1821), „о попе и работнике его Балде“ (1831), „о рыбаке и рыбке“ (1833), „о мертвой царевне и семи богатырях“ (1834), „о золотом петушке“ (1834).

Трудно сказать, какие планы и соображения могли заставить Пушкина в продолжении столь многих лет заниматься такими переложениями. Песни западных славян могли ему нравиться своим необычайным колоритом и могли будить воспоминания об его юношеском увлечении героями борьбы за свободу. Сказка „о золотом петушке“ — если по примеру тогдашней цензуры искать в ней намеков — может быть, при желании, приведена в связь с решением поэта в 1834 году „перейти в оппозицию“, так как, действительно, трудно было с большим замаскированным, язвительным непочтением говорить о царском престиже. Но остальные сказки, что могли они сказать воображению или уму поэта?

Но если вспомнить, что Пушкин считал одним из коренных недочетов нашей изящной словесности ее оторванность от народной почвы, случайность ее зарождения, то все, даже самые простые сказки, могли в глазах поэта иметь большую ценность как первые, хоть и скромные, проявления творческой фантазии народа.

РОССИЯ И ЕВРОПА

При частом размышлении над вопросами общественного и политического характера, Пушкину естественно неоднократно приходилось думать о России вообще, как об известной исторической силе в ряду других сил, творящих историю. Вопросы о мировом призвании России — Пушкин не ставил и никакого ответа на него не давал, да и дать не мог, в виду очень малой своей склонности к широким обобщениям. И более узкий вопрос о сходстве или несходстве умственного и психического склада России и Европы — вопрос, который вскоре после его смерти так занимал русские умы — ставился им случайно, в очень несложной форме.

Слава России — в чем бы она ни выражалась — была Пушкину дорога, в особенности слава военная. В ее честь он сложил гимн, который, с некоторыми изменениями, стал нашим национальным гимном. В победоносную, но безрезультатную, турецкую войну 1829 года, Пушкин был из числа тех, кто мечтал о завоевании Константинополя. С едкой иронией поэт говорил, что Олег из ревности к своей военной славе не допустил нас к вратам Константинополя, оградив их свежим щитом.

Но кроме военной славы трудно было пока указать на какую-нибудь другую. Любовь к родине приобретала характер более элегический, чем героический.

Два чувства дивно близки нам
 В них обретает сердце пищу:
 Любовь к родному пепелищу,
 Любовь к отеческим гробам.
 На них основано от века,
 По воле бога самого,
 Самостоянье человека,
 Залог величия его.
 Животворящая святыня!
 Земля была без них мертва;
 Без них наш тесный мир — пустыня
 Душа — алтарь без божества (1824).

„Самостояние“ России?! Залог величия? — их надо было найти... на них надо было указать, а это было делом очень

трудным, если не вдаваться в реторику. И для Пушкина эта трудность осложнялась еще тем, что как бы он в конце концов ни был примиренно, миролюбиво настроен, каким бы он ни был „верноподданным“, он оставался всегда слишком зорким критиком, чтобы не видеть всех изъянов, грехов и зол наличного положения. Любовь к России его отнюдь не слепила.

Тяготение к Западу в нем было большое, с юных лет. Пушкин любил и уважал Запад по книгам, и мечтал пожить за границей. Сначала было раздражено любопытство, а впоследствии хотелось широкого поля для наблюдения. „Я жажду краев чужих, авось полуденный воздух оживит мою душу“ (1820)... Италия ему часто грезилась; он воображал себе Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы, парижские театры... Об аудиториях Берлина или Мюнхена он не мечтал.

На все просьбы Пушкина об отъезде на Запад, ему отвечали обидным отказом — так что он стал просить отпустить его хоть в Китай, но и в этом отказали.

Родину Пушкин любил, но насилия над собой не терпел и потому бранился, в особенности в Михайловском. „Как на Руси сохранить веселость?! (1824). „Святая Русь мне становится не в терпеж. *Ubi bene, ibi patria*“ (1824). „Чорт возьми отечество“ (1825)! „Я презираю отечество мое с головы до ног, (хотя) мне досадно если иностранец разделяет со мной это чувство. Если царь даст мне свободу, то я и месяца не останусь... Удрать бы в Париж и никогда в проклятую Русь не возвращаться“ (1826). В 1836 году раздался последний возглас в этом роде — „чорт догадал меня родиться в России с душою и с талантом“.

Никто, конечно, из этих возгласов никаких выводов делать не будет. Все они продиктованы злой минутой, а не часами размышления;... никто их не слышал кроме тех, кому они были сказаны, и Пушкин никому не позволил бы повторить их.

Говорить о „залогах величия“ России было не легко, и мечтать об ее европейской миссии было рано. Когда славянофилы говорили о самобытности России, об ее грядущем величии, и даже величии настоящем, о преодолении Россией западной культуры, о произнесении „нового“ русского слова,

которое будет говорить, и уму, и сердцу Европы, то они имели два залога истинности своих патриотических надежд и уверенностей: православие в союзе с самодержавием и целую систему взглядов на народную психику, основанных на изучении быта народа, его мирозерцания и склада его души. Пушкин о православии не рассуждал и в изучение народной психики не углублялся... Мысли о „миссии“ России, если они когда-нибудь в его голове мелькали, могли опираться только на его совсем неразработанную политическую теорию о самодержавной и реформаторской власти царя и о какой-то политической роли старого родовитого дворянства. На таких устоях никакая уверенная гордая мысль не могла быть построена...

Но это не значило запретить себе думать о самобытности России и проводить параллель между ней и Западом. Пушкин считал Россию величиной самобытной. „На чужой манер хлеб русский не родится“, как сказано в одной из повестей Белкина. „Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой: история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные из истории христианского Запада“ (1830). „Россия по своему положению географическому и политическому etc. есть судилище, приказ Европы. Мы верховные судьи (*nous sommes des grands juges*) (1836), каковыми, конечно, можно быть лишь при одном условии — если от тех, кого судишь, ни в чем не зависишь“. Все это — сентенции, афоризмы, утверждения, которые не отягчены никакими доводами и доказательствами, но они сами по себе очень характерны, тем более, что они высказаны в годы, когда такие мысли отнюдь ни были ходкими.

В 1831 году Чаадаев переслал Пушкину рукопись одного из своих „философических писем“, тех знаменитых писем, в которых русский мыслитель впервые философски ставил вопрос о России и Западе и решил его не в пользу России. Некоторые страницы этого письма, где речь шла о событиях всемирной истории, произвели на Пушкина большое впечатление. Но отвлеченной трактовки вопросов Пушкин не усвоил и признался, что под таким углом зрения он на историю еще не смотрел. Что могли говорить затем оба друга, при свидании, на тему о России и Европе — неизвестно, но когда, в

1836 году, письмо Чаадаева, уже напечатанное, попало в руки Пушкина, он за Россию заступился.

„Разделение церквей нас отделило от Европы, писал Пушкин Чаадаеву — это несомненно и мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые Европу волновали. Но мы имели свою собственную миссию. Россия при ее огромном протяжении проглотила победы монголов. Татары не посмели переступить за нашу западную границу и оставить нас в тылу. Они отступили в свои степи и христианская цивилизация была спасена. Наше бытие стало вполне самобытным и оставаясь христианами, мы были совсем чужими для остального христианского мира и то, что мы вытерпели от татар, не заставило католическую Европу тратить на нас силы за счет своего быстрого развития. Вы говорите, что источник, из которого мы почерпнули христианство был нечистым источником. Но мы от греков взяли евангелие и предание, а вовсе не их дух мелочности и страсть к богословским спорам. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Духовенство русское до Феофана было достойно уважения; оно не сквернило себя мерзостями папизма и, конечно, никогда бы не вызвало реформации в минуту, когда человечество всего более нуждалось в единстве. Что касается нашего исторического ничтожества, я решительно с вами не согласен. Войны Олега и Святослава и даже войны удельно вечевого периода, разве это не жизнь кипучая, полная походов, жизнь деяний резких и без определенно намеченной цели, каковой бывает жизнь всех народов в их молодости? Татарское нашествие великая и печальная картина. Пробуждение России, развитие ее мощи, ее стремление к единству (русскому разумеется), два Ивана, величественная драма, начатая в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре — что же? Неужели все это не история, а бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который сам по себе один, целая всемирная история? А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы, а Александр, который привел нас в Париж? и, положив руку на сердце, разве вы не находите чего-то импозантного в современном положении России — нечто, что поразит грядущего историка. Неужели вы думаете, что он не отведет нам места среди европейцев? Хотя я лично душою предан императору, но я далеко не восхи-

щаюсь всем тем, что я вокруг себя вижу. Как писатель я рассержен, как человек с известными склонностями (*homme á préjugés*) я обижен. Но даю вам честное слово, что я ни за что на свете не желал бы обменять мое отечество, а также не желал бы иметь иного прошлого, чем прошлое наших предков, какое нам дано нам богом. В вашем письме есть много глубоко верного. Надо признаться, что наше общественное положение — вещь печальная, что отсутствие общественного мнения, индифферентное отношение ко всему, что есть долг, справедливость и правда, циничное презрение к мысли и к достоинству человека — дело поистине плачевное. Вы хорошо сделали, что обо всем этом заговорили громко“.

Итак, Россия имела свою мировую миссию в прошлом. Какова ее миссия в будущем, Пушкин не знал. Россия жила своей жизнью, но в чем характерные черты этой самобытности Пушкин не брался указать. О каких-нибудь преимуществах России перед Западом Пушкин не говорил и к западной культуре враждебно не относился. Он знал, чем и он, и Россия ей обязаны.

Есть указание, что в „Медном Всаднике“ в уста скромного героя повести был вложен монолог, в котором „слишком энергически звучала ненависть к европейской цивилизации“. Монолог этот не разыскан и если он был произнесен повредившимся в уме человеком, то Пушкин за него не отвечает. Да и вообще все, что мы знаем о Пушкине исключает мысль о какой-нибудь ненависти к Европе, о каком-либо ее осуждении с превознесением России.

Пушкин сам над такими ругателями зло надсмеялся в Онегине:

Проснулся раз он патриотом
Дождливой, скучною порой.
Россия, господа, мгновенно
Ему понравилась отменно,
И, решено — уж он влюблен,
Уж Русью только бредит он,
Уж он Европе ненавидит
С ее политикой сухой,
С ее развратной суетой...

ИСТОРИК

Любовь Пушкина к родине включала в себе естественно и его любовь к родной старине; и его исторические труды и планы не были капризом ума. Но одно дело, — изучать историю родины и черпать в ней матерьял для творчества; другое — выступать в роли историка. А желание стать именно историком не покидало Пушкина во всю его жизнь. Как могло такое желание быть столь цепким, и как умный человек, начитанный в исторической науке не увидел сразу всех трудностей дела, не сознавал своей неподготовленности и не чувствовал себя чужим при такой работе?

Пушкин надеялся историческими трудами поправить свое матерьяльное положение, и радовался когда Пугачев сделался „добрым, исправным плательщиком оброка“. „Денег он мне принес довольно“ — писал Пушкин. Денег принес он ему в сущности очень мало. Но если бы даже расчет Пушкина оказался верен, то с нашей стороны было бы большой наивностью думать, что именно матерьяльные соображения заставили Пушкина взять перо историка в руки.

К этому его побуждали совсем иные, идейные мотивы. Историк должен был продолжать дело, начатое критиком, публицистом и политиком, и лишь попутно помогать поэту в борьбе с жизнью. Художественное творчество не исключало ученой работы. „История народа принадлежит поэту“, говорил Пушкин совсем в духе своего времени. Слова эти можно понять в том смысле, что поэт волен брать свои темы из летописи старины; но можно их понять в смысле более широком: поэт призван воскрешать старину, и ему дан особый дар ее понимания и истолкования. Яркий пример такого истолкования был перед глазами Пушкина; и едва ли не „История“ Карамзина натолкнула его на мысль стать историком.

О Карамзине как историке Пушкин был очень высокого мнения. Карамзин „открыл“ древнюю Россию, как Колумб Америку. Никто не был в состоянии исследовать, оценить огромное создание Карамзина, почему его и не критиковали. На 12 лет уединился историк в свой ученый кабинет, где при

безмолвном и неутомимом труде, он создал свое творение. Примечания свидетельствовали об обширной учености, которая была приобретена уже в тех годах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно заключен. „История“ была созданием великого писателя и подвигом честного человека (1827). Карамзин наш первый историк и последний летописец. Он же яркий пример того, как творчество литературное может сочетаться с творчеством научным.

Отчего не пойти по стопам Карамзина? продолжить его дело? Карамзин закончил свою жизнь литератора созданием „Истории“ — почему не поставить и своей жизни такого памятника? Времени было много: Пушкин был еще совсем молодым человеком, когда мысль стать историком пришла ему в голову. Приобрести нужные сведения казалось вполне возможным. Свою способность работать над историческим материалом Пушкин мог проверить, когда создавал „Бориса Годунова“. Известно, что создавая эту драму, Пушкин производил настоящие ученые разыскания с привлечением весьма многих источников. Наконец, Пушкин был начитан и в исторической литературе Запада, и мог видеть, что поэтическое воодушевление Гиббона, Робертсона, Тьерри, Баранта — дар, который не помешал им стать учеными. Пушкину был ведом и распространенный тогда романтический взгляд на поэта, как на ясновидца, которому открыта книга времен минувших, как и судьбы грядущего. Живописная история, разгадывающая сердца и уловляющая „дух“ времен была в моде: одни лишь немцы начинали тогда строить историю на высших философских началах и вводить в нее экономические, юридические и социальные проблемы; но немецкой историографией Пушкин не интересовался, хотя немца из французов — Гизо он читал.

Укоряя современников в „лености и отсутствии любопытства“, вел Пушкин свою работу историка. Он вел ее, с перерывами, в продолжении последних пяти лет своей жизни, но приготовления к ней начались раньше — в тот год, когда он работал над „Борисом Годуновым“. Смерть прервала эти работы и они дошли до нас в совершенно не обработанном виде. Даже „История Пугачевского бунта“ была в сущности черновиком, который Пушкин поторопился напечатать. Кроме этой „Истории“ все остальное — разные исторические заметки и

записки, собрание исторических анекдотов, какие-то „Камчатские дела“, выписки и черновики для предполагавшейся „Истории Петра I“ — совершенно сырой материал.

В тогдашней историографии личность стояла на первом плане, и Пушкин был также сторонником культа героев.

Первый герой после Карамзинского периода был несомненно Петр, и написать историю его царствования было — как сам Пушкин говорил — его давнишним желанием. Чаадаев, его авторитетный друг сватал ему эту тему... „Вдруг вылью медный памятник“ — льстил себя Пушкин надеждой... и накапливал материал. Однажды ему показалось даже, что у него первый том истории Петра готов к печати. В мечтах предвкушал он окончание этой работы и, как иногда бывает в таких случаях, мечта, вместо того, чтобы торопить работу, ее замедляла. Но от всех этих мечтаний, несмотря на кропотливую работу, ничего не осталось, кроме черновиков, по которым нельзя себе составить никакого понятия о том, чем была бы эта „История“ царя - революционера.

Одновременно с этим планом, и иные роились в голове Пушкина. Он собирался (1824) написать Историю Александра I, и притом пером Курбского (Пушкин имел в виду, главным образом, язык Курбского). Хотел стать историком Ермолова (1833). Кажется, думал и о Суворове. Сперанский предлагал ему писать историю его (т. е. Пушкина) времени. Но всех героев сменил Пугачев, и Пушкину удалось его „Историю“ в двух частях закончить (1833-34).

Работа велась очень спешно, и она не удовлетворила, ни читателя, ни самого автора. Читатель находил книгу скучной и не покупал ее, а в Пушкине заговорила его совесть историка. Действительно, всего что Пушкин мог сказать по поводу Пугачевского бунта он напечатать не мог в виду цензурных условий, а один из главнейших источников — „Дело“ Пугачева, хранящееся в Архиве — был ему недоступен и только уже после окончания своей работы (1835) автор просил разрешения сделать из него выписки, если не для печати, то для государя и для „успокоения исторической его — Пушкина — совести“. Выполнением темы Пушкин также остался недоволен. „Мой исторический отрывок (!), писал он Дмитриеву, побранивают, и поделом: я писал его для себя (!), не думая,

чтобы мог напечатать (!) и старался только об одном ясном изложении происшествий довольно запутанных. Читатели любят анекдоты, черты местности и пр., а я все это отбросил в примечания. Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену возьмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону.

Пушкину удалось быть точным и обстоятельным в описании событий, но сухость изложения, не говоря уже о неполноте, была большая, и прав был один из критиков, который говорил, что в тексте нет почти ничего, чего бы не было в приложенных к книге документах. Не было ни типов, ни картин, ни обобщений, ни движения... Много напортила Пушкину „Капитанская Дочка“, которую он задумал прежде чем приступил к исторической работе над временами Пугачева. Повесть взяла для себя все краски, всю психологическую мотивировку, все портреты, начиная с портрета самого Пугачева. На долю истории выпали одни лишь голые факты. Публицистических выпадов Пушкин остерегался, и ему приходилось довольствоваться ролью простого летописца — что он и делал.

„История Пугачевского бунта“ как ученое исследование цены не имеет, но в истории творчества Пушкина — страница яркая. Почему выбор поэта пал именно на Пугачева? Появление такого героя в 1833-5 годах кажется неожиданным. Но переход от царя-революционера Петра к мужику-революционеру Пугачеву был естественен, даже если не считаться со старой, юношеской любовью поэта к разбойникам.

Публицист, превращаясь в историка, повторял свои мысли о родовитом старом дворянстве, о малом таланте тех новых лиц, которым власть доверяла, о невнимании чиновников к нуждам народа, о вере народа в самодержавного царя - реформатора, будь он хоть самозванец, о безумной смелости и дерзости этого реформатора и о бессмысленности и кровожадности русского бунта. Недаром Пушкин, представляя книгу государю, думал указать „пути его любви и милосердию“. И слово „бунт“ в заглавии книги Пушкин не выставил. Царь настоял на том, чтобы книга называлась историей бунта.

Насилия, которые допускало правительство в отношении казаков утаены не были и упоминание о них имело вид пояснительной записки, приложенной к донесениям о зверствах банды Пугачева. Осторожность в этих упоминаниях была соблюдена в полной мере, но социальная подкладка бунтарского движения чувствовалась. Ясно было, что это был не простой бунт, а борьба двух социальных сил и что не одна лишь неспособность вождей, которым Екатерина доверяла, затягивала расправу. Указывалось, что на стороне правительства было только одно старое оседлое дворянство и что все другие состояния тяготели к Пугачеву. Гибель этого дворянства была описана подробно и получалось такое впечатление, что дворянство расплачивалось за ошибки власти, а не за свое собственное поведение. Смелость, дерзость и кровожадность казака в роли царя-революционера не были затушеваны, хотя — при своей нелюбви ко всему жестокому и кровавому — Пушкин был краток в описании этих злодейств и их не раскрашивал. При упоминании имени пойманного Пугачева были допущены некоторые эпитеты, которые царю не понравились, и Пушкин их вычеркнул, заменив другими. Так „бедный“ колодник был переименован в „темного“ и „славный“ мятежник в „пленного“. Слова „злодей“, „разбойник“ и „изверг“, нередко применяемые к Пугачеву, отдавали трафаретом.

Ошибкой будет, если мы этот единственный исторический труд Пушкина сочтем за перелицованный политический выпад: годы, когда Пушкин над Историей Пугачева работал, он был далек от политических выступлений. Но История Пугачевского бунта как первый, хоть и слабый, опыт психологии масс и бунтарского движения в частности, входил в политическую систему Пушкина как приложение, пояснение и предостережение.

Выбором темы царь вряд ли был доволен, запретить вполне благонамеренную книгу, не производя большого скандала, было нельзя. Пришлось примириться и с этим вторым самозванцем, гораздо более неприятным, чем первый.

А Пушкин имел еще смелость намекать в одном письме к Бенкендорфу на то, что со смертью Карамзина место историографа остается вакантным! правда, этот намек был сделан еще в 1831 году, когда Пушкин только собирался писать Историю Петра Великого.

МЫСЛИ О ЖУРНАЛЕ

Пушкина поэта все помнят. О нем, как о публицисте, критике, историке — вспоминают редко. Сам он, однако, всю жизнь мечтал стать журналистом и эти мечты оправдывались очень усердной и широко задуманной кабинетной работой.

История самообразования Пушкина весьма поучительна. Когда мы читаем его критические и публицистические статьи, исторические исследования, роемся в его бумагах, пробегаем заметки, выписки, наброски, читаем его письма, — нас поражает широта интересов и умелая работоспособность поэта. Мы не верим ему, когда он говорит, что он ленив, что он ведет рассеянный образ жизни, мы забываем иногда даже о том, что он поэт т. е. дитя каприза сердечного и умственного, поэт молодой, в расцвете сил и вдохновения, отнюдь не маститый, как принято говорить, писатель, на которого работало время и записные книжки которого размножились и распухли с годами. Широта интересов и обилие знаний дались Пушкину как-то легко в годы юности и первые годы зрелости. Юношей он был уже знатоком словесности иностранной, начитан в литературной критике, был уже историком. Любопытство историка, склонность к эстетической педагогике, и вдохновение художника росли и крепили в нем одновременно. И торопился он, удовлетворяя всем этим запросам духа, и в конце концов, в 17 лет своей суетливой жизни (1820—1837), сумел в просвещении стать со своим веком наравне и быть исключительным по своей культурности представителем этого века в России.

Всем своим образованием Пушкин был обязан в сущности самому себе. Культурность дворянского круга, в котором он вырос, воспитался и вращался, культурность, за исключением немногих ее представителей, достаточно условная, должна быть, конечно, принята в расчет, но знаний она не могла дать. Их Пушкин приобрел сам. Лицей — вместе с Благородным пансионом при Московском Университете, — несомненно лучшее учебное заведение того времени — мог, конечно, дать кое-какие знания. Но Пушкин был не из ревностных учеников, даже из числа слабых. — Аттестации, которые ему выдава-

лись были не из лестных, а были даже и совсем не лестные. Но прошло лет пять (1817—1822), и переписка, и стихи поэта свидетельствуют о большом количестве накопленных им в разных областях сведений. А между тем условия жизни после окончания Лицея были для самообразования неблагоприятны. Но знания продолжали расти с необычайной быстротой. И все это при суете жизни холостой и семейной, при африкансом темпераменте, при повышенной творческой работе как художника, работе, которая, как видно по черновым тетрадам, брала у поэта много труда и времени. Помогала, конечно, гениальность, которая сокращала работу и наверстывала то, что терялось при светских отношениях, при частых раз'ездах, при разных столичных соблазнах, и молодой, и зрелой жизни.

Пушкин очень рано сознал себя большой литературной силой и сознание это было поддержано в нем признаниями его литературных друзей. Ему не пришлось переживать тех обычных сомнений в себе, которые выпадают на долю начинающего литератора. Сразу стало ясно, что с его выступлением русская литература обогатилась, кто говорил, „огромным талантом“, кто „гением“. Так как этот талант был в самом себе вполне уверен и встречал признание со стороны всех людей более или менее одаренных развитым эстетическим вкусом, то вполне естественно, что поэт стал с первых же шагов думать о том, как соединить в общей работе всех, кому дорога судьба отечественной изящной словесности. Ему хотелось вместе с другими стать „учителем вкуса“, объединив вокруг себя избранных людей из „благороднейшего класса народа“, как он называл пишущую братию. Пока у нас не будет журнала, думал Пушкин, мы „будем играть в слова“. Мысль создать свою литературную цитадель, всем видную и неприступную среди разных литературных лагерей — была мыслью заманчивой. Пушкин возвращался к ней часто, но только за год до его смерти она осуществилась.

Сначала хотелось создать новый журнал, в роде Эдинбургского Обозрения“, где раздавался бы „голос истинной критики“, который был бы рассадником хорошего вкуса, твердых, свободных убеждений и образцом литературных нравов. „Когда то мы возьмемся за журнал? Мочи нет хочется“. Затем мелькала мысль завладеть хоть одним из существующих

журналов, завладеть „самовластно и единовластно“. Все эти мечты не осуществились, да вряд ли могли осуществиться, не смотря на исключительное выгодное положение, какое в литературном мире занимал Пушкин. Не говоря об его силе и славе, он в виду своих связей со всеми выдающимся умами и дарованиями России, мог соединить вокруг себя не мало талантов, и творческих, и критических. Но вряд ли и при таком выгодном положении журнал Пушкина и его друзей мог рассчитывать на успех и долгую жизнь. Слишком высоки были требования, которые Пушкин журналу ставил, и журнал, который отвечал бы этим требованиям, рисковал остаться книжкой „для немногих“, как это и случилось с некоторыми периодическими изданиями, которые были до известной степени близки ему по духу, как напр. „Литературная газета“, „Мнемозина“ и „Московский Вестник“.

Со своей мыслью о журнале Пушкин приходил не на пустое место. Ему грозила большая конкуренция. В журнальном деле его времени предложение несомненно превышало спрос. Культурный уровень читателей был весьма не высок, любовь к серьезному чтению — редкостью; для большинства грамотных в столицах, не говоря уже о провинции и усадьбах, журнал был одним из средств борьбы со скукой, а между тем количество журналов того времени (в 20-х и 30-х годах) было очень велико, как по специальным вопросам, так и по общим. В своем недовольстве тогдашней журналистикой Пушкин был прав, но нужно было, чтобы его мнение разделял и читатель. А читатель был нетребователен и консервативен, и если судить по содержанию ходких изданий того времени, отнюдь не любитель рассуждений и серьезных статей. Он стал любить их уже после смерти Пушкина, в 40-х годах. До этого времени читателю всего дороже было чтение занимательное. А слово „занимательное“ чтение должно было сердить поэта также, как его сердило слово „сочинитель“.

Журналу Пушкина, если бы его издание состоялось, пришлось бы бороться не только с упрощенным вкусом и прихотливым любопытством читателей, но и с большой враждебностью тех, кто уже сидел на насиженном месте и не задавался целью воспитывать вкус, а к господствующему вкусу приноровлялся. Желанный для всех журналов сотрудник — Пушкин, как ре-

дактор и издатель нового журнала, не мог рассчитывать на справедливое к себе отношение тузов тогдашней журналистики. А такие тузы тогда имелись. Публика с их авторитетом считалась, и была права в своей симпатии к ним. Пушкину были ясны все недостатки Греча, Булгарина, Полевого, Надеждина и Сенковского, как писателей, но вряд ли он мог отрицать их заслуги, именно как журналистов. Рассорился он с ними не сразу. Еще в 1825 году Булгарин был ему „другом“ и он посылал ему отрывки из „Онегина“, которых не было, ни у Дельвига, ни у Бестужева... В 1827 году отношения были еще добрые. Журналом Полевого Пушкин в 1825 году (когда он возникал) был „очень доволен“. Сотрудником Надеждина Пушкин состоял в 1831 году. Затем отношения испортились и почти все видные хозяева журналистики оказались в лагере врагов и очень ожесточенных. И эти враги были сильны между прочим и количеством своих читателей. Булгарин и Греч, „грачи-разбойники“, имели свою философию жизни, сентиментально благонамеренную, и воспитывали на ней читателя, оставляя за собой право быть в жизни в достаточной мере нечистоплотными. Огромная масса людей полутемных, но ищущих света, училась у них обыденной морали, — не красть, не брать взятки, не пить, не развратничать и вести себя благоприлично, как вели себя герои их многочисленных нравоописательных романов. Булгарин упорно развращал эстетический вкус публики, но никогда не развращал человека. Он по своему будил в нем добрые чувства и масса читателей была ему за это благодарна, и, действительно, для русской серой публики того времени такая классная дама была вовсе не бесполезна, хоть и была она некрасива, скучна и банальна. Пушкина Булгарин не терпел, считал его развратным человеком, и, вероятно, и добрую половину его сочинений считал чтением развращающим.

Если Булгарин имел на своей стороне читателя с сентиментальным складом души, то Полевой располагал многими пылкими сердцами молодежи. Полевым был нашим первым публицистом в стиле французского либерала и даже демократа, первым у нас сторонником французского романтизма в теории и во вдохновении. Либерализм, или как Пушкин однажды в сердцах выразился, „якобинизм“ Полевого был поэту не по душе, а французских романтиков он терпеть не мог.

Но в те времена, для широкой и уже не серой, а до известной степени культурной публики, „романтизм“ Полевого давал очень много. В годы серого бесстрастия он умел будить благородные страсти, хотя бы приемами риторическими и мелодраматическими. Против вкуса Полевой грешил часто, но пафос и восторг, каким была полна его душа, несомненно возвышали читателя над той тиной жизни, в которой он барахтался. „Московский Телеграф“ — в литературных новинках Запада журнал тогда наиболее осведомленный — за все время своего существования держался на такой высоте настроения. Среди страстей, которые он будил, была и страсть к искусству. Ни один журнал не умел так славословить красоту и убеждать читателя в ее божественном происхождении. Пластичности, гармонии, спокойной величавости — что так ценил Пушкин — в этом словословии поэта и искусства не было. Но была теплота, а иногда жар истинного восторга.

Если Полевой владел романтическими сердцами, то Надеждин в своем „Телескопе“ хотел приучить читателя философски мыслить на литературные темы. Круг читателей журнала не мог быть широким, но он имел свою физиономию. Тонким эстетическим вкусом Надеждин не обладал и по всему своему умственному и душевному складу имел с изяществом мало общего. Манеры его как человека и как критика были довольно грубы и аляповаты и Пушкин никак не мог забыть как однажды Надеждин поднял платок, который он, Пушкин, уронил на пол и увидел в этом акте почтения к гению, чуть ли не лакейство. Впрочем, такой акт почтения не мешал Надеждину говорить по адресу Пушкина дерзости и непристойности, на которые Пушкин отвечал таковыми же. Но в спокойную минуту Пушкин не мог не признать, что „Телескоп“ продолжал дело „Московского Вестника“, о котором поэт хранил добрые воспоминания. Бояться конкуренции Надеждина не было основания, но одна из видных и крепких позиций на литературной арене — позиция философствующей критики была занята. Впрочем, Пушкин был к ней достаточно равнодушен.

Булгарин, Полевой и Надеждин были журналисты с серьезной тенденцией в печати. Сенковский, человек весьма ученый, умный и талантливый, смотрел на дело более просто. Его цель была забавлять публику и предоставлять ей возможно

больше занимательного чтения. В глубине души Сенковский, может быть, даже презирал читателей, но его журнал был им полезен, в виду чрезвычайно богатого выбора тем из всех областей знания. „Библиотека для Чтения“ со своей энциклопедической окраской была во всяком случае чтением приятным.

Журналу Пушкина, если бы он состоялся, пришлось бы, как видим, выдерживать очень сильную конкуренцию. Но пожелал ли бы Пушкин вступать в такую конкуренцию? Состязаться в благонамеренности с Булгариным, в романтическом пафосе с Полевым, в философствовании с Надеждиным и в увеселении публики с Сенковским он бы не стал. Он мечтал о журнале со строгим выбором художественных произведений, и со строгой справедливой критикой, законодательницей истинного изящного вкуса. Такая программа исключала резкую, задорную критику, т. е. отнимала еще один шанс на успех. Пушкин был прав когда говорил, что „наша публика довольно равнодушна к успехам словесности, что истинная критика для нее не занимательна“, но он не совсем верно судил эту публику, когда думал, что „она лишь изредка смотрит на драку двух журналистов, мимоходом слушает монолог раздраженного автора и пожимает плечами“. Читатель любил — и тогда, как и всегда — перебранку, любил резкие выпады и литературные скандалы, и непристойная полемика, от которой и сам Пушкин страдал неоднократно — была своего рода умышленной редакторской тактикой, один из способов завлечения публики. Пушкин от такого приема отказывался наотрез. „Слепней и комаров, говорил он, нельзя смирить ни логикой, ни вкусом, на них надо замахнуться и прихлопнуть их эпиграммой“; „не следует обращать внимания на людей, которые из личных расчетов судят о литературе без всяких основных правил и сведений“; „можно презирать писак, готовых на всякую приватную подлость, пишущих безыменные пасквили на людей, перед которыми расстилаются в их кабинете“ и „считаться с суждениями прохожих нет нужды“. „Неужели так трудно нашей братье критикам сохранить хладнокровие“? — спрашивал Пушкин. Но хладнокровный критик не всегда приобретение для журнала, который желает привлечь на себя внимание. И те немногие критические статьи, которые Пушкиным были написаны, полемическими приемами не блистали, и, при всем

своим умом, забавить, раздражить и заинтриговать среднего читателя не могли. Чтобы оценить их надо было быть самому очень культурным человеком.

Как поэт, выступающий на защиту собственной личности, Пушкин был неподражаемым полемистом, и беспощадным. Когда он узнавал себя в каком-нибудь безымянном пасквиле и считал „малодушием не узнавать себя“, когда он был взбешен настолько, что брезгал обращаться к самому Бенкендорфу за защитой, он бывал свиреп в своей самозащите. Он обладал исключительным даром — в двух, трех рифмованных строках набросать карикатуру своего литературного врага и такая карикатура не забывалась. Но это были дела личные, самооборона человека, а не писателя. Как писатель Пушкин в „свою защиту не выступал и этим гордился“, а самозащита такого писателя как Пушкин и могла стать настоящей литературной критикой. Но Пушкин — как это ни странно — литературной полемики не любил, как видно из ничтожного количества критических статей им написанных, при полной возможности помещать их во всех журналах. И помощника себе в этом деле Пушкину найти было трудно. Бестужев выбыл из строя очень рано; Вяземский, при всем своем остроумии, был также очень приличен и слишком изысканного тона; Катенин, на которого, как на критика, Пушкин возлагал свои надежды (!), к счастью не имел случая доказать, как можно заморозить и засушить целый отдел в журнале. А о критическом отделе Пушкин всего больше думал, так как изящная словесность во всех ее видах была ему обеспечена его связями и его собственным портфелем.

Положим, влиять на эстетическое развитие читателя в надежде, что оно повлечет за собой и развитие умственное и нравственное, можно было при помощи стихов и беллетристики. Но художественные произведения требовали всетаки истолкования. Без руководящих критических статей было нельзя: и строить такую критику пришлось бы в конце концов на эстетико-философских началах, как и были к тому сделаны попытки в некоторых журналах, тяготевших, то к эстетике немецкой, то к эстетике французской. Но к эстетике отвлеченной и к философии вообще Пушкин был совсем равнодушен. В библиотеке своей он книг по философии почти не держал.

Слово „философ“ было у него — как видно из первой главы „Евгения Онегина“ не в большом почете, как и слово „Кант“, которое заменило собой стоящие первоначально в рукописи слова „крикун“ и „мятежник“. „Геттингенского“ студента, при всей любви к нему, Пушкин также умом наделить не пожелал; термином „метафизический“ пользовался очень свободно; и хотя он указывал на то, что „у наших поэтов вообще мало мыслей, что им не мешало-бы иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно“, что „каждый порыв из вещественности драгоценен для души“, но к идеям в чистом виде Пушкин симпатии не питал. Он расценивал философию скорее как средство для общественного воспитания, чем как основу, на которой можно было бы строить литературную критику. „Германская философия — писал он — особенно в Москве нашла много молодых добросовестных последователей. И хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно“. Но скоро Пушкину показалось, что этих последователей стало уж слишком много и что „немецкая философия, слава богу, кажется начинает уступать духу более практическому“. Но — говорил он — философия немецкая „спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения“. А в одном частном письме, в годы, когда Пушкин был близок с московскими философами он писал: „Бог видит как я ненавижу и презираю немецкую метафизику. Да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое — чорт свое. Я говорю: охота вам из пустого в порожнее переливать? — Все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы!... (1827).

А всетаки создавать критику без метафизики было невозможно, если не иметь в виду, конечно, критики общественно-публицистической, которая в те времена не могла иметь места.

Пушкин отлично понимал всю трудность положения и иногда готов был как будто пожертвовать критикой. „У нас нет критики, говорил он. Есть несколько отдельных статей, исполненных светлых мыслей и важного остроумия, но они являлись отдельно, в расстоянии одна от другой и не получили еще веса

и постоянного влияния. Время их еще не пришло. А что у нас называется критикой, одинаково глупо и смешно. С своей стороны я отступился, возражать серьезно — невозможно, а плясать перед публикой я не намерен. Да к тому же, ни критика, ни публика недостойны дельных возражений“. В частном разговоре можно было высказывать такие мысли, но когда серьезно приходилось думать о журнале, надо было согласиться с тем, что „состояние критики само по себе доказывает степень образованности всей литературы вообще“, и если уж издавать журнал, то не для того, чтобы щеголять нищенством нашей словесности.

Юношеская мечта с течением лет оставалась по прежнему мечтой, и только в 1836 году, с основанием „Современника“ она осуществилась. И, кажется, что Пушкина эта несбывающаяся мечта не очень мучила. Того, что называется издательской и редакторской жилкой в нем не было. Сколько раз представлялся случай стать ближе к тому или другому изданию, но Пушкин не рвался навстречу. Его литературные вклады в альманахи, редакторами которых состояли его близкие друзья, были очень незначительны, а руководящих статей и критических обзоров он для них совсем не писал. Одно время Пушкин думал поработать усердно в „Московском Вестнике“, но усердия не проявил. В „Северных Цветах“, которые он очень любил, помещена, если не считать одной заметки, только одна его статья, выборки из черновых тетрадей очень пестрого литературного содержания. В „Литературной Газете“ Дельвига Пушкин работал усерднее и напечатал одну критическую статью и 14 мелких заметок, из которых многие не занимали и одной страницы. „Кабы я не был ленив, да не был жених, да не был бы очень добр, то я каждую неделю писал обозрение литературное — да лих, терпенья нет, злости нет, времени нет, охоты нет“ — писал Пушкин после смерти Дельвига редактору газеты. То, что было напечатано в других журналах: — „Сыне Отечества“, „Телеграфе“, „Телескопе“ и „Инвалиде“ были частью полемические мелочи, а частью коротенькие заметки. Когда в 1832 году Пушкину было разрешено издание политического и литературного журнала и издание это не состоялось, он не очень горевал и откровенно писал Бенкендорфу, что это дело во многих отношениях ему

не по душе (me gerugne), но что обстоятельства жизни вынуждали его на такую работу. Финансовые соображения заставили Пушкина и в 1835 году добиваться разрешения политической газеты по программе „Северной Пчелы“ и литературного трехмесячника по образцу „Единбургского Обозрения“. Когда наконец это обозрение под именем „Современника“ стало выходить в свет, Пушкин отдал ему на первых порах все свои силы.

Судить о направлении и успехе „Современника“ по тем книжкам, которые Пушкин до своей кончины выпустил — нельзя. Литературная физиономия журнала не определилась, направление критического отдела было пока не ясно, но, конечно, тон был строгий и благородный и литературная ценность напечатанного — большая. „Я сам начинаю любить „Современник“, писал Пушкин одному близкому другу, после выхода второго номера, и вероятно им займусь деятельно“. Работал Пушкин над журналом, действительно, много и поместил в нем кроме стихов целых 25 критических статей и заметок, правда очень коротких. Но долго ли он мог нести такой труд? Есть характерное свидетельство Гоголя, которое, если Гоголь говорил правду, позволяет думать, что в роли редактора, Пушкин скоро почувствовал бы себя очень не по себе и неловко, и не только в виду внешних условий. „У Пушкина, говорил Гоголь, сильного желания издавать журнал не было и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на издание его, он уже хотел бы отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещал быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Он, действительно, в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда молода, я мог принимать живее к сердцу то, для чего он уже простыл“.

И Гоголь был прав. Пушкин очень рано „созрел высоко“, чтобы считаться с читающей публикой. Он обгонял ее настолько, что ей в его обществе могло стать скучно, а ему тяжело считаться с ее непониманием.

Журнал рисковал, как „Литературная Газета“ Дельвига, стать „необходимым не столько для публики, сколько для не-

которого числа писателей, не могущих, по разным отношениям, явиться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов“.

Стал ли бы „Современник“ таким — на этот вопрос после кончины Пушкина отвечать не приходится, но все, что мы знаем об условиях, в каких приходилось работать Пушкину и об его чрезвычайно требовательных взглядах на роль литературы в жизни, не обещало его журналу большого успеха.

Критические статьи им напечатанные и черновики, которые остались в рукописях, хранили в себе очень много умных суждений и тонких оценок памятников всемирной и русской литературы, но нового и ясного направления в критике собой не знаменовали.

Но мечты и мысли поэта о журнале, с которыми он жил многие годы, имели свою особую ценность. Они вынуждали Пушкина упорно работать над накоплением всевозможных знаний. К исполнению обязанностей редактора и критика надо было готовиться; знания самые разнообразные, вплоть до проекта о железной дороге из Петербурга в Москву, могли пригодиться.

К 37 годам Пушкин был в России одним из тех весьма, весьма немногих людей, которые могли сказать, что они вполне в курсе той жизни, какой живет их родина.

XXIII

ОЦЕНКА РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Мог ли Пушкин в свои зрелые годы радоваться успехам отечественной словесности, когда вспоминал какой он ее застал в дни первых своих выступлений? И было ли у него бодрое и радостное сознание, что он вместе со своими сверстниками творит общее большое дело?

В широкой литературной среде, мы знаем, многие не любили Пушкина за его „аристократизм“. Даже в журналах по этому поводу попадались совсем непристойные намеки. Пушкин относился к ним очень нервно, до того нервно, что даже усматривал в этой неприличной травле какую-то политическую

тенденцию, чуть ли не поход против дворянства вообще, и вспоминал при этом о криках парижской черни в эпоху Революции. Но нападки на него, как на аристократа, вытекали не из политических и сословных тенденций; тот очень замкнутый писательский и дворянский круг, в котором Пушкин вращался с первых дней своего выступления, мог, конечно, возбудить неприязненное чувство в общей безсословной литературской среде. Но неприязнь к дворянам высокого круга, имеющим претензию заниматься словесностью, стала лишь потом в нашей литературе явлением довольно обычным. В данном случае Пушкину не хотели простить его писательского аристократизма. Сам он, как известно, хоть и гордился древностью своего дворянского рода, был очень доступен, приветлив, добродушен и прост в обращении со всеми. Но он никогда не искал дружбы людей, а только на нее откликался, если она его искала. Странное впечатление производят слова одного из его близких московских приятелей, когда он пишет Пушкину: „у тебя в Москве нет друзей“. Какой-нибудь близкий ему человек в Петербурге, если бы он был так же откровенен, мог бы ему написать то же. Конечно, в известном тесном кругу Пушкин был свой человек и там у него друзья были, но в широкой литературной среде он, кажется, всегда был не своим.

Эта среда и тогда уже составляла особый класс людей, правда, не столь распространенный, как в наше время, и не обладающий еще теми способами литературного общения, какие имеются теперь. Но всетаки журналов было несколько десятков, были гостинные и кабинеты, где литературная братья собиралась; были несомненно излюбленные трактиры; бывали и литературные собрания и вечера; наконец, существовал круг артистов и художников — шумный мир, всегда находившийся в тесном общении с литераторами. Со всеми этими кругами — если судить по воспоминаниям о Пушкине и по его переписке — поэт почти не приходил в соприкосновение, конечно, если сбросить со счетов годы его ранней юности. Круг его литературных знакомых и друзей был всегда самый избранный и самый тесный. После женитьбы, он стал еще более тесным: светскость в отношениях стала более требовательна. Но и кроме светскости, кроме этого этикета, который должен был соблюдать женатый Пушкин, много было в нравах и психике

пишущей братьи такого — что человеку, столь высокопоставленному по духу, было не по душе. „Он не любил общества своей братьи — литераторов. Он, кроме весьма немногих, находил в них слишком много притязаний, у одних на колкость ума, у других на пылкость воображения, у третьих на чувствительность, у четвертых на меланхолию, на разочарованность, на глубокомыслие, на филантропию, на мизантропию, иронию и пр. Иные казались ему скучными по своей глупости; другие несносными по своему тону; третьи гадкими по своей подлости; четвертые опасными по своему двойному ремеслу, вообще слишком самолюбивыми и занятыми исключительно собою да своими сочинениями. Он предпочитал им общество женщин и светских людей, которые, видя его ежедневно, переставали с ним чиниться и избавляли его от разговоров о литературе и от известного вопроса „не написали ли вы чего-нибудь новенького?“ („Египетские ночи“).

Но кроме „аристократизма“ — сословного ли или парнасского, на малую интимность Пушкина с пишущей братией несомненно влияла его расценка современной ему русской изящной словесности вообще. Сознания, что он с „сочинителями“ работает над одним и большим делом — не было.

Назвать Пушкина скромным человеком никак нельзя: он знал себе цену, и пишущая братья тоже знала, как он себя расценивает. Он не мог рассчитывать на свободное к себе отношение и рядовые писатели вряд ли чувствовали себя ловко и свободно в его обществе. Для дружеских отношений всетаки нужно, чтобы люди сознавали себя более или менее равными. Нужно было также, как в данном случае, чтобы люди верили в значительность и пользу того дела, которому они сообщают.

Пушкин был невысокого мнения о русской словесности. Он считал ее состояние столь неудовлетворительным, что иногда его собственная работа казалась ему бесцельной и ненужной.

Оглядываясь вспять и набивая, насколько возможно, цену литературным памятникам XVIII века и начала XIX-го, Пушкин не мог признать их за ценное наследство, которое надлежит лишь увеличивать. Он видел, что наша изящная словесность прежде всего не имеет традиций в прошлом, что она „рожден-

ная вдруг“ не стоит ни в какой связи со словесностью народной. Такая оторванность от народной стихии, от „народности“ озадачивала Пушкина. Во всех странах литература развивалась органически и уходила своими корнями в народную почву. У нас она родилась вдруг и с психологией и миропониманием народных масс не имела ничего общего. Она могла казаться случайным цветком нашей культуры. Пушкин часто задумывался над этим вопросом, искал связи между стариной и настоящим, и этим объясняется его интерес к старославянскому языку, который он знал для русского литератора того времени достаточно основательно, к памятникам древнерусской письменности, к народной словесности, к „Слову о Полку“, которое он пытался раз’яснить даже филологически; объясняется и разработка некоторых тем из народного творчества, и, на первый взгляд непонятные, попытки переложения народных сказок в стихи.

Пушкин был очень заинтересован разговорами о „народности“, когда они поднялись в критике, и очень разочарован, когда увидел, что никто не думает определить, что понимает он под словом „народность“. Пришлось в конце концов помириться со „случайностью“ рождения нашей изящной словесностью и утешать себя тем, что она растет „чрезвычайно быстро, десятилетиями“ и повидимому многое обещает в будущем. Но хотелось не надежд, а побед в прошлом и настоящем.

Разбираясь в суждениях Пушкина о русской словесности, не надо забывать, что они им не приведены в систему. Они разбросаны в письмах, мелких статьях и черновых заметках. Но основное их направление и конечный вывод вполне ясны: наша изящная литература в общем крайне бедна, она в целом не представляет собой ценного оригинального явления и работа на нее занятие неблагодарное. Неоднократно, в письмах и статьях, в резкой или более мягкой форме, высказывал Пушкин эту мысль — верную, если забыть о творчестве самого Пушкина. Представим себе в самом деле, что ничего того, что написано Пушкиным не существует, и повторим его слова о видных наших писателях. Картина получится далеко не радостная.

„В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения. Оды его, написанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев,

утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности — вот следы, оставленные Ломоносовым. Ломоносов сам не дорожил своей поэзией“ (1835). [Год спустя Пушкин смягчил этот крайне суровый отзыв словами: „у Ломоносова весьма основательно оспаривали титло поэта“. Заметим, однако, что эти слова были предназначены для печати, резкий же выпад остался в рукописи]. За Сумароковым Пушкин не признавал никаких заслуг. Его и Хераскова он ставил ниже Третьяковского, изучение которого, по его мнению, „приносит больше пользы, чем изучение прочих наших старых писателей“ (1835). Пушкин так мало ценил этих старых писателей, что удивлялся необыкновенному „чувству изящного“, какое обнаружил Третьяковский, когда ему пришла мысль перевести стихами эпос Фенелона, и находил в „Телемахиде“ много хороших стихов и счастливых оборотов“.

Заслуги Фон-Визина были отмечены, но очень бегло; отмечены одобрительно, и Богданович, и Княжнин.

Пришлось высказать свое мнение и о Державине. Пушкин помнил старика, помнил о том волнении, которое испытал, когда в его присутствии пел ему хвалу на лицейском экзамене. В Державине Пушкин хотел видеть гения, но должен был огорчиться. „Этот чудаки не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка, он не имел понятия, ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения. Что же в нем? Мысли, картины и движения истинно поэтические; читая его, кажется, что читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Его гений думал по татарски, а русской грамоты не знал за недосугом. Державин переведенный изумит Европу; у него должно сохранить будет од восемь, да несколько отрывков, а прочее сжечь“ (1825). „Кумир Державина $\frac{1}{4}$ золотой, $\frac{3}{4}$ свинцовый“ (1825). „Но есть у него высшая смелость — смелость воображения, создания, где план обширный об'емлется творческой мыслью; такова смелость Шекспира, Данте, Мильтона, Гете в „Фаусте“, Мольера в „Тартюфе“, Фон-Визина в „Недоросле“, (Байрона в „Чайльд-Гарольде“) (1827).

Итак, весь XVIII век дал нам несколько од Державина, две или одну комедию Фон-Визина, сказку Богдановича и „переймчивого“ Княжнина. Можно ли говорить о какой-нибудь стовесности? Ее еще нет, хотя есть таланты и даже один гений. Даны залого, но нет осуществления.

Александровское царствование миновало. Четверть века протекло с тех пор, как были даны залого. Что было достигнуто? Пушкин одно время благоговел перед Карамзиным. Карамзин был для него образцом писателя и гражданина. Его „История“, „создание великого писателя и подвиг честного человека“ была настольной книгой Пушкина (1826). С каким пылом и убежденностью выступал поэт на защиту Карамзина против Полевого! Но на вопрос — поэт ли Карамзин — Пушкин отвечал определенно отрицательно. Стихотворную работу Дмитриева Пушкин в серьез не принимал. Старику он писал невероятно лестные письма, но в переписке с другими корреспондентами на его счет не стеснялся.

Озерова Пушкин совсем не признавал и относился с открытой антипатией к его трагедиям. Гнедича ставил высоко как переводчика. Выше всех — даже выше Лафонтена — ставил Крылова баснописца.

О Жуковском, своем учителе и ближайшем друге, — как о поэте — Пушкин упоминает очень редко. Такая сдержанность, — как и отсутствие обстоятельной оценки Батюшкова — не могут не броситься в глаза. Послания, которые Пушкин писал им лично, конечно, в счет приняты быть не могут. Наибольшую ценность должны иметь в данном случае черновики. В них сказаны две больших похвалы. Сказано вскользь, что Батюшков — это наш Петрарка, и что Жуковского перевели бы на все языки, если бы он сам менее переводил (1824). Очевидно, — это подтверждается в частной переписке Пушкина — он жалел о том, что силы учителя тратятся непроизводительно и „русскому“ не уделяется должного внимания. На чрезмерное увлечение западными образцами Пушкин смотрел косо. Из некоторых его слов можно заключить, что и основное сентиментально романтическое настроение в стихах Жуковского начинало казаться Пушкину пережитком.

Итак, опять можно было сказать, что отдельные силы были на лицо, но что изящной словесности они пока еще не создали.

В утешение оставалось начать перебирать в памяти труды своих сверстников. Наиболее талантливые из них все были друзьями Пушкина. Среди них были люди большого дарования. Пушкин это знал и не умалял их цены, но где памятники, которые могли бы считаться приобретением „на всегда“? Много ли их?

Рылеева Пушкин считал посредственным поэтом; до расцвета таланта Бестужева Пушкин не дожил, и вряд-ли этим расцветом был бы доволен.

Веневитинов, о котором Пушкин умолчал, был обещанием; В. Одоевский пока также.

Стихи А. Одоевского на глаза Пушкину, вероятно, не попадались. Грибоедова Пушкин оценил верно. „Горе от ума“, как художественное создание, понравилось ему на половину, но ум, остроумие автора и его язык Пушкина пленили. Молодой Гоголь был величиной еще не вполне ясной. Пушкин не разгадал в Гоголе своего наследника и не нашел случая высказаться о „Ревизоре“. В восторге Пушкин был только от стихов и даже поэм Баратынского; возлагал большие надежды на Языкова и очень любил Вяземского и Дельвига, — их самих и их стихи.

Последний из сильных, с которым он встретился—Тютчев, был оценен им сразу.

Суждения Пушкина о всех его сверстниках и современниках — образцы верного художественного критического чутья. Спорное в этих суждениях было редкостью. Так, например, Пушкин слишком высоко расценивал творчество и критический дар Катенина, которому советовал засесть за романтическую трагедию в 18 действиях; барона Розена ставил выше Кукольника и Хомякова, в трагедии Погодина находил достоинства „шекспировские“, любил очень комедии Хмельницкого и переделку Жандра одной трагедии Ротру считал „чудно-хорошей“.

Итак, таланты рождались, но родилась ли изящная словесность? Одна комедия-сатира, несколько бравурных песен Языкова, повести и комедия Гоголя, несколько десятков пьес Баратынского, Вяземского и Дельвига... а кругом целый лес произведений без художественной цены или с ценой менее чем скромной. В минуту беспокойного раздумья, а в особенности в минуту раздраженья на редакторов, сочинителей и чи-

тателей, можно было разразиться резкостями по адресу той словесности, которой отдаешь все свои силы. Такие резкости Пушкин говорил в разные годы своей литературной работы. Пусть они нередко были плодом остроумия, вспыхнувшей злобы, возгласами досады. Но и как таковые они весьма характерны. Поэт не мог отделаться от часто набегающей мысли, что в сущности еще ничего не сделано. Даже о стихотворцах своего времени он однажды сказал, что у поэтов в старину было более искренности и душевной теплоты (1835). „У нас нет еще ни словесности, ни книг“ (1824). „Какова наша текущая словесность? — настоящий насморк“ (1825). „Чорт ли в ней, в нашей словесности?“ (1832). „Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок“ (1834). А в 1836 году Пушкин писал жене в сердцах, что чистить русскую литературу значит заниматься ассенизацией.

„Наша литература не возбуждает того интереса, который должна возбуждать настоящая серьезная литература“.

Со всеми подобными выпадами нельзя не считаться, даже приписывая их минутному раздражению. Слишком часто и через большие промежутки времени они повторяются, — и, главное, они не находят себе поправки во взглядах им противоположных. Ни в письмах, ни в статьях Пушкина, когда речь заходит о нашей словесности, не встречаешь торжествующего тона и радости по поводу одержанной победы.

В журналах того времени восхваления нашей образованности и литературы попадались нередко. Писатели разных рангов искренно радовались успеху дела. Пушкин, который имел более чем кто-либо оснований ему радоваться — либо молчал, либо был крайне сдержан по этому вопросу в печати. В интимной беседе с друзьями или с самим собой он давал полную волю своему скептицизму.

О том, чем для России было его творчество, он умалчивал, несмотря на всю свою писательскую гордость; о своих литературных планах, об общем „направлении“ своей поэзии, т. е. об ее роли как проводника известных эстетических и вообще литературных тенденций, он также не распространялся. Он творил лихорадочно, поспешно, он знал, что никаких литературных традиций его творчество не имеет, не подозревал, что он создает школу; и только изредка мог радоваться, когда

кто-либо из его друзей художников напоминал ему о своем даровании. А эти истинные художники — Жуковский, Крылов, Вяземский, Одоевский, Гнедич, Дельвиг, Баратынский, Туманский, Грибоедов, Языков, Гоголь — как медленно, как лениво они творили! Как случайны были плоды их вдохновений! Как разрознены вообще их силы и как, за отсутствием определенной программы и раз'ясненной идейной связи между ними, они были бессильны в борьбе с облежавшей их литературной безвкусицей, банальностью и меркантильной макулатурой! Торжествовать не приходилось, в особенности, если Пушкин решил забыть о себе.

Можно было лишь радоваться минутам вдохновения и любоваться красотой русского языка.

Хоть Пушкин и жаловался, что у нас нет еще „метафизического“ языка для работы научной и философской, но наш язык, как орудие изящной словесности казался ему „превосходящим“ все другие языки.

XXIV

ЗАПАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА БЛИЖАЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Если то положение, в каком находилась русская литература, было, по мнению Пушкина, незавидным и, может быть, даже отбивало у него иногда охоту работать — то он мог черпать бодрость в литературе иностранной, богатство которой были неисчислимы, и в его годы (1820-1837) накопились с невероятной быстротой. Положим, это богатство было чужое, но так как и русская словесность тех годов, за весьма немногими исключениями, жила на счет Запада, то можно было и в России стать проводником того или иного западного литературного течения, хотя бы по примеру Жуковского.

Но для этого надо было перестать быть Пушкиным. Сила личного дарования с указкою извне не могла ужиться. Она освобождалась чрезвычайно быстро от всякого иноземного влияния и искала своего — народного, национального, индивидуального.

Пушкин из поклонника некоторых западно-европейских образцов быстро стал их свободным ценителем и судьей, как увидим, строгим. Соревнование с западными образцами его не прельщало.

Пушкин обладал солидными знаниями в иностранной словесности и некоторым знанием языков. Французский язык он знал с детства, но славу богу не в таком совершенстве, чтобы не нуждаться в языке русском, как многие люди его времени и круга. Немецкому учился в Лицее, но знаний этих, кажется, потом не расширил. Английскому он стал учиться на юге, во время первой ссылки, но еще в 1825 году говорил, что английский язык ему „нужен“ и что одна из невыгод его ссылки в деревне заключается в том, что он не имеет способов этому языку учиться пока пора. Во всяком случае некоторых авторов он читал в оригинале. Итальянский язык он очень любил, как любил и саму Италию, которую повидать не пришлось, но где в мечтах он странствовал нередко. В какой мере он знал итальянский язык — судить трудно. Приписки в письмах он делал, не насилуя грамматики. Отрывки из писателей Эпохи Возрождения, может быть, читал в оригинале. По латыни Пушкин читал, вероятно, справляясь с переводами. Греческого и испанского языка он не знал. Впрочем, вопрос о филологических познаниях Пушкина особого значения не имеет. Если терялись во французском переводе какие-нибудь красоты подлинников, то художественный вкус Пушкина, его конгениальность — эти недочеты покрывали. Знаний по истории литератур было во всяком случае очень много, и свое родословное древо как художник Пушкин знал не хуже своей дворянской родословной. Кроме знаний была еще большая острота суждений. Из журнальных статей и переписки Пушкина можно было бы набрать целую тетрадку остроумных, верных и тонких литературных афоризмов, определений и заметок.

Следя за литературными новинками на Западе, Пушкин к теоретическим спорам был очень равнодушен.

Для поэта всегда имела значение одна лишь абсолютная художественная ценность произведения; ее логическое оправдание его не интересовало. На Западе и у нас шли тогда нескончаемые разговоры о споре „классиков“ с „романтиками“, и, конечно, Пушкину приходилось часто принимать в них уча-

стие в качестве слушателя или собеседника. Что ему говорили и что он говорил — неизвестно, но эти разговоры к выступлению в печати его не побуждали. Он любил ясность во всем, а наши споры о „романтизме“ были великой туманностью и потому он предпочитал творить свое „новое“ и предоставлял другим подыскивать ему определение. От затянувшихся споров и перебранок он отмахивался. „Литература у нас существует, но критики нет“, говорил он. „Журналисты бранятся именами „классик“ и „романтик“, как старушки бранят повес франк-массонами и вольтерьянцами, не имея понятия, ни о Вольтере, ни о франк-массонстве“ (1827).

Чтобы покончить для себя с этим вопросом, Пушкин перевел его на чисто формальную почву. „К классическому роду надо отнести те стихотворения, писал он, коих формы известны были грекам и римлянам. К романтическому те, которые не были известны древним и те, в коих прежние формы изменились и заменены другими“ (1835). Такая простота решения, очевидно, Пушкина удовлетворяла и он уже не смущался, когда Гете и Ариосто называл „романтиками“ и к ним же причислял и Вольтера с его „Девственницей“. Впрочем, что все эти споры и разговоры могли дать художнику, которому всегда дороже всего было вдохновение, бессознательно избиравшее для себя форму, в которой оно появлялось?

И в иностранной словесности, которая тогда шла под знаменами трех „романтизмов“ — английского, французского и немецкого и где тогда уже стала пробиваться наружу тенденция старого реализма — Пушкин искал прежде всего наивной самодовлеющей красоты. Он находил эту красоту, но не часто, потому что был крайне требователен; и мы не ошибемся, если скажем, что и западная современная ему изящная словесность его в восторг не приводила.

К англичанам он питал наибольшую симпатию, не разбираясь в тех счетах, которые у них между собою были. Одно время он очень увлекался Байроном и остался ему верен, правда, со строгим выбором. Он в нем больше всего ценил творца „Чайльд-Гарольда“ и первых песен „Дон-Жуана“. Гений Байрона, говорил он, бледнел с его молодостью. Очень высоко ставил Пушкин Вальтер-Скотта, выше всех романистов. Нравились ему Вордсворт и Саути; Мура он не любил за то,

что он „через чур восточен“, т. е. навязывает поэзии какую-то, хотя бы самую невинную, тенденцию. Заинтересовался Пушкин и Шелли и прочел воспоминания о нем Медвина. Читал ли он усердно самого Шелли — неизвестно, но если читал, то он был первый из русских поэтов, который остановил на нем свое внимание. Бульвера Пушкин ценил и именем одного из его героев он окрестил набросок неоконченного нравоописательного романа.

О немцах Пушкин говорил редко, но знал стариков. Был в восхищении от „Фауста“ Гете и читал драмы Шиллера во французском переводе. На немецких романтиков, Тика, Вакенродера, Новалиса и других, указаний в статьях Пушкина не имеется: вскользь упомянут только Ж. Поль. Впрочем, надо помнить, что молчание не всегда свидетельствует о незнании. Но немецкая романтика, если Пушкин и перелистывал ее памятники, мало что могла сказать ему: ее мистическое, религиозное настроение, средневековые, католические настроения, национальная археология, нелюбовь к ясному и пластическому, вряд-ли бы пришлись ему по душе.

Всего естественнее было бы предположить, что именно французская литература найдет в Пушкине почитателя. Но случилось обратное. Пушкин терпеть не мог французского романтизма, хотя из этого не следует, что он любил французский классицизм типа XVII и XVIII века. Воспитан он был, правда, на Буало, Расине, Корнеле, Мольере, Вольтере и Лагарпе, — как тогда вообще воспитывали русскую молодежь —, но отношение его ко всем этим учителям, за исключением Вольтера, которого он любил неизменно, было двойственное. Красоту он в них признавал, хотя напр. за Расином отрицал дарование трагика, но не прощал он французскому классику того, что он при дворе чувствовал себя ниже своей публики, сам себя ограничивал в вольном вымысле, боялся оскорбить каких-то спесивых патронов. Не прощал и робкой чопорности, смешной надутости и привычку влагать в уста людям высшего состояния, с каким-то подобострастием, странный, нечеловеческий образ изъяснения (1830). „Писатели века Людовика XIV создали вежливую, тонкую словесность, блестящую, аристократическую, немного жеманную, но тем самым понятную для всех дворов Европы“, — писал Пушкин, умалчивая об ее ху-

дожественности (1835). Один Фенелон и Лафонтен (Пушкин очень высоко ставил Лафонтена) не принимали участия в создании этой литературы. Такова она была в годы своего цветения, а в XVIII веке она совсем измельчала. Поэзия истощилась, превратилась в мелочные игрушки, роман стал скучной проповедью или галлереей соблазнительных картин (1835). Конечно, для отдельных произведений, хотя бы того же Расина и Корнея и в особенности Мольера, у Пушкина находились слова признания, но французскому классицизму он в общем не придавал эстетического воспитательного значения, и как бы Пушкину ни были дороги воспоминания юности, с ним связанные, его творчество с этими воспоминаниями не считалось... Русских учеников французского классицизма Пушкин совсем не терпел и делал исключение только для Катенина, своего личного приятеля.

Можно было думать, что такой строгий судья классицизма станет на сторону „романтиков“, которые подписались бы обеими руками под словами Пушкина о веке Людовика XIV.

Предтеч французского романтизма, М-м де Сталь, Шатобриана, Пушкин знал хорошо и отдавал должное их таланту. Он признавал, что французский народ Шатобрианом может гордиться, что он первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения, что сочинения его блестящи (1836).

Суждения Пушкина об отдельных писателях ничего не разъясняют нам во французской литературе тех годов, но они очень характерны для понимания творчества самого Пушкина. „Французская словесность родилась в передней, а новейшие поэты, они, конечно, на площади“ (1835). „Когда писатели перестали толпиться по передним вельмож, они обратились к народу, лаская его любимые мнения или фиглярствуя независимостью и странностями, но с одной целью: выманить себе репутацию или деньги. В них нет и не было бескорыстной любви к искусству и к изящному. Жалкий народ!“ (1835). „Дерзкие умники сорвали лавры с густого парика Буало, но новейшие вральи стоят вралей старинных, они хватают перо, марают бумагу, но хорошо было бы им прежде узнать, чем думы их исполнены — вдохновением ли или одним необузданным поползновением. По пустякам чешутся у них руки“ (1833).

Чем молодая школа поэтов, отрекшаяся от Буало, могла так раздражить Пушкина и заставить его взводить на них такую напраслину? Пушкин видел в них служителей известного литературного трафарета и моды, тенденциозной и не только эстетически, но и нравственно преступной. „Бесстыдные записки и плутовские признания разных шпионов стали служить материалом для литературной обработки. Сам Гюго, любимец парижской публики, сам поэт, хоть и второстепенный, не постыдился в записках шпиона Видока искать вдохновений для романа, исполненного огня и грязи“ (1830).

Какой талант ныне не запачкал себя грязью и кровью в угоду толпы, требующей грязи и крови? (1835). „Мелочная и ложная теория, утвержденная старинными риториками, будто бы польза есть условие и цель изящной словесности, сама собой уничтожилась. Почувствовали, что цель поэзии есть идеал, а не нравоучение. Но французские писатели поняли только одну половину истины неоспоримой и положили, что и нравственное безобразие может быть целью поэзии, т. е. идеалом. Они любят выставлять порок всегда и везде торжествующим, и в сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм и тщеславие. Такой поверхностный взгляд на природу человеческую обличает, конечно, мелкомыслие. Пока он еще нов и большинство читателей с непривычки видит в нынешних романистах глубочайших знатоков природы человеческой. Но уже „словесность отчаяния“ (как называл ее Гете) „словесность сатаническая“ (как говорит Соутей) „словесность гальваническая каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр. — эта словесность, давно уже осужденная высшею критикою, начинает упадать даже и во мнении публики“ (1836).

Как Пушкин был сердит! И как несправедлив его гнев! Много было, и крови, и грязи во французской романтике, но как много было, и благородства, идеальных порывов, и любви!

Можно было, впрочем, высказывать общее суровое суждение, но смягчить его при оценке отдельных писателей — что Пушкин и сделал, оставаясь, однако, суровым. Гюго он считал посредственным поэтом, нервным, грубым. Альфреда де Виньи чопорным, манерным и его роман „Сен Марс“ облизанным. Бальзака он приравнивал к Жюль Жанену. Ламартин казался ему скучнее Юнга, вялым, бесцветным, тощим и одно-

образным, хотя он и не имел ничего общего с сатанинской поэзией. Беранже казался несносным. Исключение Пушкин сделал лишь для очень немногих: для Андре Шенье, который так умел сживаться с античной красотой; для Сент-Бева-Делорма, принадлежавшего, несомненно, к школе певцов романтического „отчаяния“, но готового в своем отчаянии покаяться; и наконец для Мюссе. Пушкин считал Мюссе единственным среди романтиков истинным выразителем „свободы“ творчества. Когда все остальные руководились каким-то кодексом романтических правил, который считали обязательным для вдохновения, он один дерзил и проказничал и был среди романтиков „белой вороной“ по искренности и теплоте лирического чувства, без всякой эмфазы, реторики и напыщенного пафоса. Пушкин мог ознакомиться только с первыми сборниками стихотворений Мюссе и по ним он разгадал его настолько, что видел в нем будущего романтического трагика (1831). „Лоренцаччио“ оправдал эту догадку. О драмах Гюго Пушкин не проронил ни слова, хотя должен был вспоминать о них, бывая в гостях у „доньи Соль“.

Ни романтикам, ни классикам не желал Пушкин доверить эстетическое воспитание русского читателя, и еще в 1823 году взывал к Вяземскому о помощи и просил его „разбранить Русь и русскую публику, стать за немцев и англичан и уничтожить маркизов классической поэзии (1823). Обращаться к Вяземскому с просьбой уничтожить романтиков он, однако, не решался, так как Вяземский, вероятно, отказал бы в поддержке.

Из итальянских писателей — если не считать стариков — Пушкин с похвалой отзывался о смирении и искренности Сильвио Пеллико и, не останавливаясь на трагедиях Альфиери, одобрял его за то, что он на базарах учился итальянскому языку. Выписывал Пушкин почему-то и строфы из Пиндемонте.

Отзывы Пушкина об иностранных писателях имеют для нас, как уже сказано, большое значение сами по себе, как пояснение эстетического отношения поэта к жизни — в особенности отзывы отрицательные. Перед нами сжатый и краткий перечень тех настроений, чувств и мыслей, которые Пушкину в художественном создании казались противоречащими его сущности. Перечислим их.

Пушкин не любил сентиментальности, томной и вялой, и за вычетом самых ранних его стихов, сентиментальные мотивы в его поэзии отсутствуют, или, как в характеристике Ленского, вплетаются в рассказ как необходимая психологическая мотивировка характера.

Не любил Пушкин и романтического пафоса, перенапряженного и громогласного. Прав был Раевский, когда писал Пушкину, что он „сведет с ходуль поэзию, что с ним водворится у нас простая и естественная речь“ (1825). Невыгодно было Пушкину лишать себя такого эффектного и сильного союзника, каким был романтический под’ем чувств и речи; он это почувствовал, когда наткнулся на непонимание читателя при появлении в свет „Бориса Годунова“ и „Полтавы“. Публика была так неподготовлена к встрече „романтической“ трагедии Пушкина, где не было ни классических условностей, ни романтического пафоса, и читатель был так враждебно настроен, что на мгновение поколебал в Пушкине его уверенность в себе и ему показалось, что „нововведения опасны и кажется не нужны“ (1827).

Неприятны были Пушкину — утонченность (*minauderie*), осторожность, надуманность, даже планомерность, вытекающая из каких-либо соображений, кроме чисто эстетических. Трудно найти писателя, который от красоты требовал бы такой наивности, такого чистосердечия, такой, скажем, оголенности. Откровенной грубости Пушкин не боялся и хвалил за нее, напр., Фон-Визина и баллады Катенина.

Наконец, Пушкин требовал эстетической чистоплотности от художника и полного пренебрежения к вкусам и требованиям толпы, — черни, хотя бы в самых изысканных костюмах.

„Побольше благородной простоты“ — говорил Пушкин, простоты в художественных замыслах, в изображении психических движений, в описаниях, в прозаической и стихотворной речи (Слог Гоголя, напр., Пушкину не нравился).

Сентиментальное, бьющее на эффект и надуманное — вот соблазны, которые грозят художнику. Он легко им поддается, так как нетрудно разжалобить, раздражить читателя и подделаться под его вкус.

При столь высоких требованиях, пред’явленных писателю, Пушкин не мог не чувствовать себя одиноким. Из всего, что

было создано его друзьями-художниками лишь очень немного на эти требования отвечало.

Можно было обратиться за поддержкой на Запад. Но мы видели, что и там такую интимную помощь могли оказать лишь весьма немногие. Ни к одному из господствующих литературных течений на Западе душа Пушкина не лежала. Он был слишком индивидуален, чтобы примкнуть к какому-либо направлению или школе. Могли найтись лишь единичные писатели, в художественных вкусах совсем несхожие, творениями которых Пушкин мог восхищаться, у некоторых кое-чему научиться и с которыми беседа была для него легка и приятна. Так отдыхал он за чтением Вольтера и Гете, Байрона и Вальтер-Скотта, Шенье и Мюссе.

Из числа поэтов своего времени он выбирал себе друзей свободно, не будучи связанным ни с кем из них никакими партийными договорами.

XXV

ВЛИЯНИЕ. ЗАИМСТВОВАНИЕ. ПОДРАЖАНИЕ

Если выписать из сочинений Пушкина имена иностранных писателей и добавить имена авторов, сочинения которых находились в его библиотеке, и, судя по отметкам, были им читаны, — получится очень длинный список имен. Античный мир, Франция, Англия, Германия, Италия и Испания представлены в лучших памятниках.

Давно уже наша наука занялась вопросом об иноземном влиянии в творчестве Пушкина. К ее общим выводам ничего нового добавлять не приходится. Несомненно, что в первые годы своего творчества, поэт находился под таким „влиянием“. Учителями были некоторые античные классики, французские лирики, друзья Вакха и Венеры, Вольтер, Парни и Байрон.

Для русского писателя начала XIX века иноземная школа была неизбежна и вопрос заключался лишь в том, скоро ли писатель ее окончит и, окончив, скоро ли забудет об уроках. Мы, русские, прошли эту школу быстро. В XVIII веке, когда

у нас еще не существовало изящной словесности, иностранное влияние было всего сильнее. В Александровскую эпоху мы продолжали учиться, но уже обладали памятниками самобытного художественного творчества; в Николаевское время самобытное решительно взяло верх над иноземным; к середине XIX в. мы окончательно освободились от всяких „влияний“ и создали литературу, которая спустя некоторый срок сама стала влиять на соседей.

В истории ученических годов нашей словесности Пушкину придется отвести весьма незначительное место. Как „ученик“, он был совершенно не типичен. Так и надлежало быть гению. Читатель — если бы он по сочинениям Пушкина пожелал ознакомиться с иностранными литературными вкусами — ничему бы не научился. Хотел он прочитать героическую поэму, он должен был обратиться к Хераскову; с игривой поэмой его мог ознакомить Богданович; с торжественной одой Ломоносов и Державин, с классической трагедией — Сумароков и отчасти Озеров, с идиллией — Гнедич, с мечтательным сентиментальным романтизмом — Жуковский, с античной элегией — Батюшков, с романтизмом французским — Полевой и целый ряд поэтов второго и третьего ранга. В сочинениях Пушкина типичных образцов иноземного стиля читатель бы не нашел, за исключением весьма немногих стихов, написанных в античном духе. А между тем творения Пушкина отличались от сочинений всех наших писателей тем, что в них с удивительной пластичностью воплощены очень многие исторические этапы, пройденные человечеством. Веселая старинная Греция, императорский Рим, наивное христианское настроение, рыцарские времена, типы из эпохи Возрождения, шутливая Франция XVIII века, — воскресали, правда, совершенно случайно, без всякого умысла, по капризу гения в его созданиях. Переводясь в людей разных эпох, поэт оставался самобытным и психическую жизнь этих эпох он схватывал, не подражая тем литературным формам, в какие она в старые и в новые времена выливалась.

Несомненно, однако, что под влиянием иностранных писателей Пушкин одно время находился.

Слова „влияние“, „подражание“ и „заимствование“ надо понимать с большими оговорками. Слово „влияние“, когда

речь идет о поэте, ничего не объясняет, если им пользоваться без пояснений. Любая из многих сотен книг, которые читал Пушкин на него в л и я л а. Он учитывал по своему то впечатление, какое выносил из любого чтения. Автор ему совершенно чужой по духу мог навести его на любую мысль и пробудить в нем любое настроение. Определить случаи и степени такого в л и я н и я — невозможно.

Если поэт повторяет или развивает мысль, которая ему понравилась у другого писателя, повторяет поэтический образ, берет целую картину, целое драматическое положение, то в л и я н и е переходит уже в з а и м с т в о в а н и е и становится более ощутимо. Но не надо забывать, что одни и те же положения и образы и даже поэтические картины могут возникать совершенно независимо друг от друга, да и про многие образы и положения можно сказать, что они общее достояние всех поэтов мира. Совпадение слов также ничего не доказывает, так как определенные образы требуют иногда одинаковых слов, если такие слова всего отчетливее этот образ поясняют. Даже если поэт выписал себе в тетрадку строки, которые ему понравились и затем при случае повторил их — как например Пушкин повторял стихи из Парни, Шолье, Лафара, Вольтера, Шенье и вероятно других — то такое заимствование ничем не отличается от часто в книгах встречающихся слов „как сказал такой-то“, но только эти слова поэтом приводятся без ссылки.

Бывают и другие случаи — поэт берет умышленно целые фразы, которые, нужны ему. Так например в письме Татьяны не мало заимствований из письма Юлии, героини „Новой Элоизы“. Если вспомнить, что Татьяна усердно читала „Новую Элоизу“, то понятно, что письмо Юлии лежало у нее перед глазами, когда ей в первый раз пришлось писать любовное послание.

Заимствование настоящее имеется на лицо только тогда, когда оно переходит в п о д р а ж а н и е. Характерный признак такого подражания, это — заимствование типов и перелицовка чужого мирозерцания или настроения. Но и в данном случае надо помнить, что переживаемая историческая обстановка может один и тот же тип навязать нескольким художникам.

При однородности переживаний, их поэтическое обобщение может много раз повторяться со сходными положениями, позами и словами.

В стихах Пушкина попадаются переводы из иностранных писателей — в весьма малом количестве. Встречаются подражания, отмеченные как таковые самим автором — тоже очень немногочисленные. Имеются также страницы в отдельных произведениях, которые носят на себе отпечаток внутреннего или внешнего иноземного стиля. Такие страницы или строки крайне редки; копий нет; вариаций ходкого литературного типа, который не был бы связан тесно с личным пережитым настроением тоже не имеется. Везде и во всем, за исключением самых ранних стихов перед нами — сын своего времени, откликающийся на голос жизни, а не на книгу.

В библиотеке Пушкина античные классики представлены полностью во французских переводах, а иногда и в оригинале. Если судить по античным мотивам в его поэзии (в статьях и переписке на античную словесность мало указаний), то придется сказать, что древним классикам он обязан немногим. С лучшими образцами Пушкин познакомился в Лицее. Больше всех он любил из греков — Анакреона, из римских писателей — Тибулла и Овидия. *Tristia*, судя по ссылкам, он читал в оригинале, находя в этих жалобах изгнанника отклик на личные чувства ссыльного. Даже старика-цыгана он заставил вспомнить об Овидии. Собирался Пушкин переводить Ювенала, попробовал перевести начальные стихи из Одиссеи, по подстрочному переводу; написал несколько великолепных пьес в стиле старых злегиков, преимущественно Тибулла, писал иногда в духе Марциала, читал охотно Апулея, Петрония и, может быть, Атенея. Вообще в раннем периоде своей деятельности он заплатил свою дань античной словесности, как вообще все наши поэты того времени. Но о каком либо влиянии античного мирозерцания на творчество Пушкина едва ли может идти речь. В античной словесности он интересовался сюжетами, мыслями и настроениями лишь одного порядка жизнерадостного, бодрого, любовного, веселого, иногда гневного; вся трагическая и героическая сторона античного миропонимания отклика в его душе не нашла. Гомера заменил Гнедич. Трагиков Пушкин, конечно, читал, как читал и многих

других классиков, о которых умалчивал, но они не навели его ни на одну тему. Он вскользь упомянул только об „Эдипе“ и „Филоктете“.

Латинский язык Пушкин знал в границах приличия, греческого не знал совсем и красота подлинников была ему в огромном большинстве случаев недоступна. Он вообще древним языкам не придавал воспитательного значения: „Изучение новейших языков, говорил он в 1825 году, должно в наше время заменить латинский и греческий: таков дух века и его требования“. Год спустя, в статье о народном воспитании, Пушкин выражал недоумение, зачем в наших гимназиях, лицеях и пансионах учат латинскому и греческому языку. „Позволительна ли роскошь там, где чувствителен недостаток необходимого?“ — спрашивал он, забывая, что для всякого художника изучение древних языков не есть „роскошь“, а именно „необходимое“, и если гимназии и лицеи существуют не для выработки поэтов, то все-таки эстетический вкус в них воспитываться должен. Но если Пушкин настоящей классической школы не прошел, и под влиянием классических образцов не находился, он — а это уже было делом гения — „дух“ античности схватывал иногда в совершенстве. В некоторых лицейских стихах, в гекзаметрах (1830) и в подражаниях древним (1833) перед нами были обломки и осколки неподдельных памятников старины. Перелистывая оригинал с подстрочным переводом, читая просто перевод, встречаясь с образцами в какой-нибудь истории литературы, Пушкин начинал думать и чувствовать как грек и римлянин. Несколько строк одного образа было достаточно, чтобы воскресить давно исчезнувшее мироощущение. Язычник веселый, пьяный, жизнерадостный, влюбленный, наслаждающийся красотой, а также язычник злобный, ядовитый, насмешник или сердитый сатирик — вставляли во весь свой рост перед глазами читателя, иногда в условном античном костюме, иногда в русском одеянии. Они все были настоящие, а не переодетые и замаскированные, и творец их ни под чьим прямым влиянием не находился, а восстанавливал целую страницу старого текста по отдельным словам и отрывкам. Пушкин мог про себя сказать, как он говорил о Дельвиге: „какую силу воображения нужно иметь, дабы так совершенно перенестись из XIX столетия в золотой век, и какое

необыкновенное чутье изящного, дабы так угадать античную поэзию сквозь подражания или переводы“?

Библия, „которая для христианина тоже, что история для народа“ была настольной книгой Пушкина. Библейских и евангельских тем он однако не разрабатывал, если не считать отрывка „Юдифь“ (1835). Но сколько библейского духа в „Пророке“ и христианского в „Галубе“! И часто со многими книгами бывало так. Пушкин высоко ставил Данте, не поясняя, правда, своего увлечения; готов был читать его на военном бивуаке, даже пытался подражать ему и в стиле Данте написал две сцены (1832). Но не в этих сценах — образчиках искуснейшей имитации — сказался дух флорентийца. Он чувствуется в других стихотворениях, в которых говорится о поэте и толпе. Дух Ариосто мы также чувствуем, но не в тех строфах, которые поэт перевел из *Orlando Furioso* (1825), а в его игривых и любовных мотивах.

Влияние Шекспира было того же рода. Поэт читал Шекспира усердно, хотя редко говорил о нем. И не в „Борисе Годунове“, форма которого навеяна „Хрониками“, придется искать следов влияния Шекспира. Дух его веет в тех немногих истинно трагических положениях, которые попадают в создания Пушкина. Так точно и чтение Вальтер-Скотта, которого Пушкин называл „пищей своей души“, сказалось на манере поэта вести историческое повествование.

Вольтера Пушкин читал может быть усерднее, чем кого либо, и в лирических стихах делал у него позаимствования. Большим поэтом он Вольтера не считал, из всех его произведений ставил выше всех „Девственницу“, к переводу которой приступил (1825). Но если искать Вольтера в произведениях Пушкина, то искать его надо не в подражаниях и переводах (весьма немногочисленных), а в самом Пушкинском остроумии, шутке, смехе, в игривой обработке совсем оригинальных тем. Остроумие и смех Пушкина утончались в беседе с великим насмешником. И религиозное вольнодумство в стихотворной оболочке не было Пушкиным заимствовано ни у Вольтера ни у Парни, хотя, может быть, без „Девственницы“ и „Войны богов“ оно и не легко бы на бумагу. Способность гениальных натур общаться друг с другом и рост одного гения при встрече

с другим, без всякой утраты своей самостоятельности — вот к чему в сущности сводится „влияние“, о котором мы говорим. Кто учтет влияние Гете на Пушкина? А оно несомненно было. Пушкин называл „Фауста“ „величайшим созданием поэтического духа, представителем новейшей поэзии, точно как Илиада служит памятником классической древности“. Про своего любимца Байрона Пушкин говорил, что он в единоборстве с Гете, с этим великаном „романтической“ поэзии, всегда оставался хром как Яков. Но если искать духа Гете в сочинениях Пушкина, то не „Сцена из Фауста“ его обнаружит. В способности подчинять жизнь своему вдохновению, а не вдохновение жизни — Пушкин мог многому научиться у Гете.

Каждый из больших писателей обогащал Пушкина как художника и там, в тайниках его души совершался неуловимый процесс взаимного общения с равным себе собеседником. Наступала минута вдохновения и когда она давала свой плод, один Пушкин мог сказать — „это мое“.

Когда Пушкин захотел очертить господствовавшее в начале века и в годы его молодости еще живое настроение разочарованного человека — душевное состояние, которое он сам пережил — он, естественно, вспомнил о тех писателях, в творчестве которых этот тип был неки более художественно представлен. Вспомнил Руссо, Шатобриана, которых читал, вероятно, еще в школе и во всяком случае — раньше чем „болезнь века“ его самого захватила.

В разгар этой „болезни“ ему попали в руки сочинения Байрона, в которые он раньше не заглядывал. Между разочарованными героями и им, Пушкиным, существовало — хоть и на короткий срок — определенная духовная связь. Но так как взяться за литературную обработку этого типа Пушкина побудили личные переживания, а не чтение, то яркий, красивый, глубокомысленный, „демонический“ тип западный вышел под его пером бледным, малокровным, очень упрощенным и неглубоким в переживаниях, несмотря на свою художественную красоту. От Пушкина, конечно, не укрылась духовная немощность его героев — Кавказского Пленника, Онегина, Алеко, но это не мешало ему любоваться и увлекаться внешним блеском и душевной глубиной западных оригиналов.

За Шатобрианом Пушкин признавал искренность, сердечное красноречие и детское простодушие (?); и следы внимательного чтения Шатобриана, как доказали исследователи, нашлись в произведениях Пушкина.

В Байроне Пушкин отметил „пламенное изображение страстей, трагическую силу, высоту парения, удивительное шекспировское разнообразие в „Дон Жуане“, глубокомыслие и трогательное развитие сердца человеческого“. Не одобрял он Байрона только как драматурга, за односторонний взгляд на мир и природу человеческую.

Однако, Пушкин не перевел ни одного стихотворения Байрона (только в 1835 году он прозой переложил несколько строк из „Чайльд Гарольда“) и бывал очень недоволен, когда до него долетали разговоры о байронизме в его творчестве. Странно, что в литературной среде даже люди серьезные и к Пушкину расположенные, одно время, действительно, опасались за самобытность творчества „Байрона Сергеевича“, как выразился в шутку Вяземский. Нерасположенные люди и разные завистники, те, конечно, не упускали случая кольнуть Пушкина именем подражателя. Он сам иногда давал повод к таким разговорам. У всех в памяти было его стихотворение к „Морю“, в котором он вознес Байрона и Наполеона и назвал Байрона „властителем наших дум“. Симпатии Пушкина к грекам в годы их борьбы за освобождение сыграли также свою роль. Кто слышал от том, как Пушкин служил в день смерти Байрона заупокойную литургию, мог в этом увидеть подтверждение своего суждения. Иногда неосторожное выражение, как напр., „Онегин написан вроде „Дон Жуана“ (?)“ могло дать пищу разговорам. Но главная причина, почему Пушкина считали подражателем Байрона заключалась в том, что, подметив в поэмах Пушкина некоторое сходство в деталях с поэмами Байрона, судьи не пожелали задать себе вопроса — а могли ли быть эти поэмы написаны без всякого чтения Байрона, и много ли в них байронического, не в деталях, а в самих типах? Если бы какая-нибудь из поэм Пушкина была, действительно, написана в подражание Байрону, Пушкин, при своем чистосердечии и добродушии, в особенности в частном письме, конечно, в таком подражании признался. Но таких признаний не имеется. И Пушкин был прав.

„Кавказский Пленник“ — сентиментальная повесть старого типа, отзвук старых рассказов о диких племенах, среди которых процветают нежные, искренние чувства. Герой повести сам Пушкин, плохо еще в своей душе разбирающийся, и байронического мотива — выступления сильной личности в защиту поправленной свободы — в повести нет. Герой не добровольно ушел в горы, он среди вольной природы — чужой, он чувствует себя свободным, когда возвращается в цивилизованный круг. Отсутствует и мотив обоюдной любви.

„Бахчисарайский Фонтан“ — отклик чисто личных переживаний, отклик любви, не очень глубокой, но грустно поэтичной, как любовь Гирея. А что байронического в Гирее? Восточный властитель в духе Байрона поступил бы совсем иначе с Марией. Зарема не напоминает ни одну из героинь Байрона. Обстановка гарема могла быть взята из любого описания турецких нравов. Герой, апостол свободы и мщения — отсутствует.

„Братья разбойники“ — тема оригинальная и любимая тема Пушкина. Сходство с „Шильонским узником“ чисто случайное. И что общего между Бониваром и каторжниками? Психология каторжных простонародно грубая и не включает в себе ничего романтического, несмотря на приписку Жуковского.

Алеко родился в Кишиневе; Байрона не читал, потому что иначе семьей бы не обзавелся. „Цыгане“ — это суд над эгоизмом байронического героя.

Наконец „Евгений Онегин“. Сам Пушкин сказал, что как поклонник Байрона, Евгений — пародия. Но он и пародией-то не был, а был чисто русский, средней руки, человек, дальний родственник Недоросля, генеалогию которого можно проследить до XVII века. Что роман написан вроде „Дон Жуана“, это значило только, что фабула его, как у Байрона в его героическом эпосе наизнанку, часто служила предлогом для многократных отступлений от темы.

Весь „байронизм“ Пушкина сводится таким образом к любви его к Байрону и к тому опять-таки невесомому общению двух художников равной силы, между которыми временно установилась общность настроения при весьма малой солидарности в образе мыслей. Думы Байрона не были думами Пуш-

кина и русских байронистов. В русской культуре эти думы — плод весьма сложной европейской цивилизации — корней не могли иметь, но это не мешало нам русским восхищаться поэзией Байрона и разделять с ним в известные минуты жизни его настроение.

Когда говоришь о влияниях, заимствованиях и подражаниях в поэзии Пушкина, то эти слова имеют определенное и полное значение только применительно к некоторым юношеским его стихотворениям. Французские лирики XVIII века и начала XIX, воспевавшие вино и любовь, могли бы предъявить свои права на некоторые стихотворения молодого Пушкина, влюбленного, разгоряченного вином, и богохульствующего, правда, с большим изяществом и грацией, или Пушкина вместе с каким-то служителем Венеры, Феба и Фемиды, „раз'езжающего на юге по служебным делам и проповедающего Парни“. А когда думаешь вообще о заимствованиях в творениях великих писателей, вспоминаешь о Шекспире, который обирал всех своих предшественников и которому в его трилогии „Генрих VI“ из 6043 стихов принадлежат только 1899.

Такие заимствования нисколько не мешали Шекспиру оставаться единственным и недосягаемым.

XXVI

ВЕЛИКИЕ ПРЕДКИ

Историки и критики любят иногда проводить параллели между поэтами, в особенности между поэтами высокого ранга. Такие сравнения, подчас очень остроумные и глубокомысленные, покоются обыкновенно на эстетических и философских предпосылках, и, несомненно, могут многое раз'яснить в вопросе о художественных приемах творчества того или другого писателя. Ведь каждый большой писатель оригинален в своем эстетическом отношении к жизни.

К таким сравнениям прибегают нередко и с целью установить между поэтами известную табель о рангах.

Доказывают, напр., что Гете художник бóльшего дарования, чем Шиллер; что дарование Шекспира не имеет себе равного, что гений Мильтона глубже гения Байрона и т. д.

Творчество Пушкина такому взвешиванию на чутких весах эстетики подвергалось очень редко, но зато нередко, при оценке силы его творчества, упоминались имена его великих предков — Шекспира, Данте, Гете и других, к звуковому составу имен которых мы менее привыкли.

Такие сравнения или упоминания сводились в сущности к одному — к желанию видеть в Пушкине великого мирового поэта. На эту тему можно вести очень пространные и для Пушкина лестные разговоры, но одно слово в них останется навсегда туманным; это — слово — великий. Как делить поэтов на великих и невеликих? Начнешь составлять такой список чинов первого класса на Парнассе и неполнота и несостоятельность его обнаруживается сразу. Есть два, три имени, которые не вызывают, как будто, возражения. Таковы, напр., если не считать Гомера и греческих трагиков, — имена Данте, Мильтона, Шекспира, Сервантеса, Мольера, Гете, Бальзака... Но как только начнешь этот список увеличивать, получают уже оговорки. Ариост, Тассо, Кальдерон, Раблэ, Корнель, Расин, Шиллер, Байрон, Шелли, Леонарди, Гюго, Мюссе, Гейне... уже требуют большей мотивировки в признании за ними прав на первое место. Еще большей требуют, напр., Петрарка, Боккачио, Руссо, Вольтер, Вордсворт, Виньи, немецкие романтики. Кого из них назвать великим поэтом, кого нет? И когда вспомнишь, что достаточно одного художественного стихотворения, чтобы автора его признать истинным художником, понимаешь всю бесцельность деления поэтов на какие-то ранги, именно как „поэтов“, т. е. творцов красоты. Слово великий можно сохранить как риторический эпитет, ничего не говорящий уму, но много говорящий сердцу. К Пушкину этот эпитет давно прилагается.

Иногда среди туманных и отвлеченных размышлений о величии тех или иных поэтов встречаешься с одним несложным, ясным требованием. Размеры гения определяются способностью художника отрешаться от своего „я“ и перевоплощаться в людей, творя их не по своему образу и подобию. Такой дар перевоплощения — дар редкий и в художнике очень цен-

ный, и он может до известной степени служить исходной точкой при сравнении талантов. Но не надо забывать, что иногда один индивидуальный тип, по богатству психических движений бывает в общечеловеческом смысле ценнее сотен типов самых разнообразных, и полное его пластическое воссоздание в творчестве, напр., Байрона, Шелли, Гейне, Leopardi, — как документ психики человеческой — может быть расценен выше, чем довольно обширная галерея портретов.

Что касается Пушкина, то он обладал обоими дарами. В его творчестве отразилась его богатейшая индивидуальная психика и с такой же полнотой и образностью проявилась и его способность перевоплощения.

Но не будем продвигать Пушкина ни в какие ряды. Признаем молча его права на первый ранг, как художника, но заявим просто, что для нас русских, столько веков проживших без всякого общения с тайнами искусства, для нас, не имевших до прихода Пушкина никаких национальных литературных традиций, — он был и Гомером, и Шекспиром, и Гете...

Пусть процесс художественного творчества остается, как и надлежит ему быть, тайной, и сам художник, как выразитель этой тайны, также остается загадочным существом. Пусть только этот незнакомец и таинственный посетитель будет любимым нашим собеседником и спутником жизни.

В некоторые исторические эпохи, среди избранных народов живут эти вдохновенные певцы и делом своей жизни ставят служение своему вдохновению. Их вдохновение истинное, т. е., оно трогает сердца людей, управляет их мыслями, будит воображение, иногда толкает на деяния. Эта власть над людьми единственное видимое и осязаемое доказательство истинности вдохновения, кроме других доказательств, которые можно только интуитивно почувствовать, а не раз'яснить. Вдохновение принадлежит самому художнику; плоды его — общее достояние. И творения Пушкина были, как для людей его времени, так и для всех, кто шел им на смену, таким народным достоянием. Современники ценили это достояние так высоко главным образом потому, что Пушкин как человек, гражданин, публицист, критик, ученый и художник был для них поэтическим воплощением всей их эпохи, а мы не понижаем

ценности этого достояния потому, что оно для нас — поэтический символ общечеловеческого.

Для своего времени творения Пушкина были своего рода энциклопедией в образах. В его творчестве жизнь и фантазия имели равную долю участия. Жизнь даже большую. Ни у кого из русских поэтов, да пожалуй и иностранных, нет такого количества стихов „на случай“, как у Пушкина. В этом он сходен с Гете. Стихами на случай были не только прямые непосредственные стихотворные отклики на впечатления переживаемой минуты, но и поэмы, повести и драматические отрывки, которые, как и творения Гете, создавались под воспоминанием перечувствованного, и передуманного не в кабинете, а в живом общении с людьми своего поколения. Самый чуткий и отзывчивый человек своего времени, Пушкин всем читателям имел что сказать. Все узоры калейдоскопа его личной жизни были занесены им в тетрадку — любовь, дружба, веселье, часы работы и развлечений, встречи на улице и в деревне, прогулки по историческим местностям, беседы с книгой или людьми, портреты знакомых, их профили и силуэты, обмен шутками, карикатуры, злые или добродушные. Эти мелочи жизни претворялись в поэзию и читатель узнавал себя в этих интимных признаниях.

В требованиях непосредственности Пушкин был так строг, что даже в произведениях большого размера, отрицал необходимость „плана“. Правда, в черновых тетрадях Пушкина планов нашлось не мало, но большинство их осталось неразработанными, а те, которые были осуществлены от первоначальных набросков сильно отступали. Творчество Пушкина говорит о почти мгновенном отклике на впечатления жизни. Длинных произведений он не любил. В этом отношении он не похож на „великих“ поэтов мира. Он не оставил нам, ни „Божественной Комедии“, ни „Освобожденного Иерусалима“, ни „Неистового Роланда“, ни „Дон Кихота“, ни „Исторических хроник“, ни „Генриады“, ни „Фауста“. Все, что он писал было написано быстро, в несколько месяцев. Если работа усложнялась и затягивалась, он работал урывками. Он бросал написанное и через несколько лет к нему возвращался, но за этот перерыв о начатом не думал. Больше всего труда стоила ему поэма „Руслан и Людмила“, но это было его первое выступ-

ление, так сказать экзамен, и он к нему готовился, хотя, как рассказывают, тоже весьма небрежно. „Кавказский Пленник“, „Бахчисарайский Фонтан“, „Цыгане“, „Борис Годунов“, „Полтава“ — все это создания почти что минуты вдохновения. „Онегин“ взял несколько лет, но плана в романе не было и каждая глава была самостоятельна.

Всякий раз, когда план бывал задуман широко, он не осуществлялся — так случилось с „Медным Всадником“, „Египетскими ночами“, „Галубом“, длинным рядом задуманных нраво-описательных повестей. Может быть отсутствие больших полотен и недостаток, но он искупается тем, что ни в одном из произведений Пушкина нет „устаревших“ мест, длиннот, которых не мало во всех великих созданиях мировой литературы.

Если в творчестве Пушкина нет типов мировых по своему психологическому и историческому значению вроде Гамлета, Фауста, Манфреда — столь чуждых психике самого поэта, — то их заменяет оригинальный, цельный тип самого поэта, который „сам свой суд“, поэта — „эхо“, поэта *omnium deorum gratia*, поэта, повинующегося только вдохновению, без тени какого-либо умысла, если он не обуславливается самим вдохновением.

Никогда никакая тенденция не умаляла поэта и не заслоняла собой вдохновения. Богословского, философского, политического и исторического комментария его творения не требуют. Они не „Божественная Комедия“, не „Потерянный рай“, даже не „Путешествия Чайльд Гарольда“. Все очень просто и очень ясно; искать затаенного смысла не приходится.

Нам, русским, являлись поэты-пророки, говорившие нам о боге и о любви устами Толстого и Достоевского. Пророк Пушкин имеет с ними мало общего. Ему внятно содрогание неба, горный полет ангелов, подводный ход морских гад и прозябанье дольней лозы; призван он, обходя моря и земли, глаголом жечь сердца. Но каким глаголом? — Этого серафим пророку не сказал. О ком и о чем должен пророк говорить людям? Какие тайны открыть им? Очевидно, обо всем может говорить он, и каждое его слово будет жечь сердца с той минуты, как грешный язык его стал жалом мудрой змеи и трепетное сердце пылающим углем.

Пророчество в Пушкине, — это само его явление. Что-то таинственное и божественное было в этом явлении поэта людям, до него не знавшим, что такое поэт, и в чем сила красоты. И еще при жизни поэт был окружен поклонением, и сознательным, и безотчетным. И всякая критика, порой может быть и справедливая, была перед ним безоружна. Мало по малу в сознании читателя Пушкин становился поэтическим символом тогдашней жизни, и личной, и общественной. Пусть „великие“ поэты мира казались ему недостижимыми в грандиозности и широте художественного замысла и в глубине идейного смысла их созданий, но, как для итальянцев эпохи Возрождения — Дант, как для пуритан — Мильтон, для французов XVIII века — Вольтер и для немцев — Гете, — для наших прадедов и дедов Пушкин был художником, в душе которого сходились все лучи нашей духовной жизни. Поэт не собирал их в едином фокусе или нескольких отдельных снопах света, где бы они явились в форме художественного произведения большого размера и широкого художественного замысла. Он выражал то, что он переживал лично и не любил широких обобщений. Не бесстрастный летописец художник перед нами, но и не мыслитель и систематик. Перед читателем лежало зеркало жизни того же размера, что и сама жизнь, без малейшей кривизны. И Россия любовалась собой, узнавая себя в этом отражении, потому что Пушкин был справедлив к родине и говорил о ней и доброе и злое. Он был правдивее любого „пророка“, который послан обличать грехи и преступления, призывать к покаянию и почти всегда молчать о доблестях и добродетелях.

Всем более или менее культурным русским людям, поэзия Пушкина была близка и понятна. Вольтерьянцы, которых еще оставалось не мало со времен Екатерины, поклонники Руссо и сентименталистов английских и немецких, „романтики“ недовольные прозой жизни, патриоты-консерваторы всех оттенков, „разочарованные“ меланхолики в разладе с самим собой, искатели героического в жизни, „афеисты“ и шутники богохульники, тайные фронтеры, открыто выступающие „либералисты“, „якобинцы“, мечтающие о политических переворотах — всем им, на чудесном русском языке в поэтических образах Пушкин говорил о том, чем они жили в мечтах, о чем

думали и к чему стремились. Только в его творчестве вся эта богатейшая скала мыслей, чувств и настроений была дана в темах и вариациях, без преобладания какого-нибудь одного мотива над другим. Для всех в его стихах нашлось любимое motto. А если менялись взгляды и вкусы поэта, то менялись они вместе с ростом нашей образованности.

Обойденных в творчестве Пушкина было очень мало. Обойдены были люди религиозно мыслящие, от правоверных до всевозможных сектантов, которых тогда было так много. Религиозные мотивы в поэзии Пушкина были редкостью.

Обойдены были и все „философы“, которые уже в те времена начинали насаждать немецкую мудрость в России. Еще в учениях материалистических Пушкин, вероятно, с грехом пополам мог разобраться, припоминая старые прочитанные французские книжки. Но философского идеализма Пушкин не воспринимал, забывая все, что некогда в Лицее говорили Куницын и Галич.

В отклике, почти исчерпывающем отклике на русскую жизнь — помимо, конечно, художественной ценности — заключалось величие Пушкина для России. В этом отношении он был наш Дант, наш Шекспир, наш Гете.

Слово „наш“ не должно умалять его. Чудес не бывает и такая страна, как Россия, во времена Пушкина числящая за собой лишь 100 лет культурного развития, не могла спорить в постановке и разрешении проблем жизни со странами, образованность которых имела за собой вековую историю.

Россия могла родить гениального поэта, но не могла дать ему той духовной пищи, какую в изобилии давали своим гениям другие культурные страны. Пушкин был предтечей тех двух гениев, которые принадлежали уже не одной России, а всему миру.

Когда Пушкину пришлось самому себе ставить памятник, он признал себя как художника, равным всем „великим“. „И славен буду я, доколь жив будет хоть один пиит“. Но никаких откровений, кроме откровения красоты он народам давать не собирался. Он был доволен тем, что к его памятнику не заростет русская народная тропа, что по всей Руси великой пройдет о нем слух. Со скромностью умалчивая о многом, он в своем творчестве отметил лишь его э т и ч е с к у ю тенден-

цию и упомянул о чувствах добрых, о восславлении свободы, о милости к падшим.

В настоящее время, когда наша изящная словесность становится достоянием всего культурного мира, Пушкина, как художника приравняют к „великим“. И когда русский язык станет тоже общим мировым достоянием, у Пушкина, как у всех великих, станут учиться приемам мастерства.

Слова его современника, Проспера Мериме, найдут общее признание. Этот француз, как все французы, необычайно ревнивый и строгий в оценке иностранцев, считал Пушкина одним из первых поэтов своего века.

О Данте, Мильтоне, Шекспире и Гете Пушкин вспоминал часто и у этих великих предков мог многому научиться — но, конечно, только тому, чему научиться может лишь равный им художник.

XXVII

ТАЙНА ПОЭТА

Никогда ни философ, ни критик, ни историк, не выяснят нам, и сами мы себе не выясним, чем мы поэту бываем обязаны. Современники его и мы, их потомки, чувствуем на себе его силу, признаем наши долги перед ним и молчим, когда спрашиваем себя, в чем они заключаются. И чем более поэты „велики“, тем более загадочными кажутся нам эти самые близкие нам люди; и они, со своей стороны, чувствуют себя среди нас также чужими, как бы они нас не любили. Если бы можно было раскрыть тайну творчества, подсмотреть художника в мастерской его духа, в которую никогда никто кроме него не заглядывал и заглянуть не может, куда и он сам входит, утрачивая способность самонаблюдения — может быть, если бы эта тайна чужому глазу открылась, стала бы ясна и тайна влияния на нас художника.

В продолжение многих столетий умнейшие люди думали над тайной творчества и над призванием поэта в мире, и убедили нас только в одном, как бессильна бывает острота ума и сила фантазии человеческой, когда она берется за разгадку тайн, связанных с психикой человека. Определить законы ко-

торыми управляется микрокосм и заставить стихии служить себе — человек мог; в вопросах микрокосма, и при том самых существенных, он остался созерцателем, которому разрешено лишь удивляться, любоваться и недоумевать. И удивлялся, и любовался человек исстари явлению поэта в мире. Сколько мыслей, поражающих своей глубиной и широтой было высказано великими мудрецами мира, когда они встречались со своим ближайшим сотрудником — поэтом! Сколько величественных по красоте и пафосу поэтических картин было нарисовано эстетиками и критиками всех веков и народов, когда они, по примеру поэтов, стремились образами пояснить свою мысль! Сколько было таких образов, иногда не менее художественных чем те, для пояснения которых они создавались! Кажется, можно было бы больше и не повторять этих попыток вырвать у поэта его тайну. Но тайна творчества так сильна в своем воздействии на людей, что не перестанет дразнить их растревоженную и покоренную мысль. И кажется нам, что вслед за поэтом мы можем подняться на таинственные высоты. Какими близкими и доступными кажутся нам вершины гор, живописные в своем многообразии! Но за одной вершиной растут и растут другие. На большой высоте, с которой уже надо спускаться, мы в царстве холода и тумана, далеких от той красоты, которая нас издали манила; мы не заметили как прошли мимо или через нее. И при попытках сопутствовать поэту в его восхождениях мы обречены испытать тоже чувство разочарования. Красота кажется нам такой близкой, понятной, доступной и простой, когда мы ею любуемся в творениях поэта. Пока мы не рассуждаем о ней, а только откликаемся на нее непосредственно, она в ее неделимом целом всегда так привлекательна! Но на высотах раздумья о ней — нас ожидает мир холодных или туманных отвлечений. Конечно, тот кругозор, который открывается нам с высоты, на которую мы становимся — сам по себе может иметь свою красоту и прелесть, но поэт, которого мы избрали себе в путеводители, он уже не с нами.

Надо смириться перед тайной... Тайн, облегающих нашу жизнь так много!

В благодарность за все, что нам дано поэтом, мы можем исчислить те из его заслуг перед жизнью, которые никакой

тайной не окутаны. В чем сущность жизненной силы, которую хранят брошенные им на ниву жизни семена, мы не узнаем, но какой плод эти семена дали, когда из таинственных недр они вышли, об этом можно и должно говорить, и такие слова будут лучшей данью нашей благодарности.

Как выразитель великой тайны вдохновенья Пушкин навсегда останется непонятым для нас, как непонятен он был и своим современникам. Но подойти к нему на близкое расстояние мы можем.

Мы можем воскресить его духовную жизнь, и, так как она тесно переплелась с жизнью целой прожитой нами культурной эпохи, то такое воссоздание ее — выяснит долги его родины перед ним.

Мы можем перечислить житейские вопросы, на которые он откликался как человек и художник; можем говорить о нем как о культурном типе и характере; можем лишней раз залюбоваться его словесными изваяниями, которые вот уже сто лет стоят непоколебимо на своих пьедесталах, на людных площадях и не снесены в исторические музеи, где их приходилось бы разыскивать. Мы можем исследовать технику его стихотворной и прозаической речи — звуковую оболочку заманчивой тайны.

Можем, наконец, прислушаться к его интимным или гласным словам о своем призвании, о своих выступлениях как поэта. Поэты не любят рассказывать о своих свиданиях с музой. И Пушкин был мало словоохотлив, но заговаривать на эту тему ему случалось.

XXVIII

ПРИЗНАНИЯ ХУДОЖНИКА

О тайнах творчества, если Пушкин о них и много думал и спорил, то в печати высказывался редко. „Всякий талант неиз'ясним“ — говорил он устами Импровизатора. „Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера и выводит его на свет резцом и молотом, раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными одно-

образными строфами“? (1835). Ответа на эти вопросы Пушкин давать не собирался, как и на вопрос, в чем тайна власти поэта над людьми. Во время путешествия в Эрзерум, Пушкин был представлен какому-то паше и отрекомендован „поэтом“. „Благословен час, сказал паша, когда мы встречаем поэта. Поэт — брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных и между тем как мы, бедные заботимся о славе, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются“ (1829). Пушкин с этой мыслью был согласен и пояснений не потребовал. Если же неотступная мысль требовала ответа, то поэт был очень краток и слова его мало что раз'ясняли.

„Вдохновение не есть восторг“, сказал Пушкин однажды. И так же случайно проронил другую мысль: „Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и об'яснению оных. Вдохновение нужно в геометрии как и в поэзии“ (1827).

В нем самом такие рассуждения не будили, ни восторга, ни вдохновения. И Пушкин старался на них не останавливаться. Не утомляя себя размышлениями о сущности поэзии и о роли поэта в жизни, он предпочел изобразить художника в самой житейской обстановке, воспроизводя или вспоминая переживаемое или пережитое. К этой теме Пушкин часто возвращался и разрабатывал ее, как в общих положениях, прибегая к символам и измышленным картинам, так и в положениях частных, имея в виду самого себя, припоминая как, при каких обстоятельствах, вдохновение на него нисходило и что в эти минуты он сам испытывал. За глубокомыслием он в таких воспоминаниях не гнался, но искренний рассказ о его дружбе с музой соранился.

Стихи Пушкин начал писать с 13-тилетнего возраста, а с 15-ти лет (1814) стал писать их в большом количестве, так что имел право сказать про себя, что он „метроман“ и что „бешеный демон бумагомарания его дергает“ (1815). Поддержанный в своей любви к стихам семьей, лицейским кругом и знакомыми, он вступил в жизнь (1817) с верой в „поэзию“, во „вдохновение“ и, бог Аполлон был для него первоприсутствующим на Олимпе. Еще на школьной скамье Пушкин решил посвятить себя служению в его храме. Никакая карьера —

легкая для лицеистов первого курса — его не соблазняла. Пятнадцатилетний мальчик уже надеялся, что на него „ляжет печать небесного Аполлона“, что „сияя горним светом он взлетит на Геликон“, что „смелый житель неба, он воспарит к солнцу и слава прогремит о его бессмертии“ (1814). Пушкин знал и тогда уже, что такое бессмертие придется купить ценою борьбы с „чернью“, с „толпой“, которая будет ему врагом неизменным. Но силам своим и в те еще молодые годы он доверял, и ласку музы чувствовал. Венком из миртов покрыла она его чело и, озаренная светом, влетала в его келью и чуть дыша преклонялась над ним — еще ребенком (1815). Бывали, конечно, и минуты сомнения в себе, казалось, что видение музы и предвкушения славы — обманчивый сон, что, уснув на розах, он проснулся на терниях (1816). Тяжелее всего было сознавать, что в стольких нанизанных рифмах, гений отсутствует. Что в том, что лира стала его уделом? Где минуты упоения, где неизъяснимый жар сердца? Где слезы вдохновения? Не обменять ли эту тревожную жизнь при „легком“ даре на счастливое бездействие? (1817). Сомнения шли по пятам за восторгами вплоть до 1820 года, когда с выходом „Руслана“ Пушкину было, с общего согласия, даровано звание истинного поэта. В 1825 году он уже уверенно писал одному из своих друзей, что „душа его совсем созрела и он теперь в силах творить“. Все, что было написано до этого года казалось ему „проказами“.

Уверенность в своей силе не покидала поэта за все время его деятельности (1820—1834). Только с 1834 года эта уверенность стала как будто колебаться. Пушкину не писалось. „Неужто близ тебя не распишусь“ — говорил он жене (1834), прибегая уже к этой последней заручке. „Поэзия кажется для меня иссякла. Я весь в прозе, да еще в какой!.. право, со-вестно“ (1834). „Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие: а я совсем не спо-коен“ (1835). Пушкин надеялся, что эта творческая вялость— следствие житейских мелочных тревог и отсутствия досуга. Неожиданно смерть помешала проверить его опасения и догадки.

Вспоминая о былых годах своей дружбы с музой, поэт мог сказать, что самыми счастливыми и спокойными годами

были десять лет, проведенные в Петербурге, в ссылке на юге и в Михайловском.

Пушкин был тогда неизменно влюблен, и в любви по своему счастлив. Бывали недоразумения, ссоры, обычные „измены“, были слезы томления, грусти, слезы любовных мучений, но ласка любви, и духовная и телесная, была музе ведома. И гимн любви не сходил с ее уст. Ведома была ей и дружба без всяких измен. Ни зависти, ни клеветы муза пока не знала. Была она безумно весела на пирах и веселье было юное, здоровое и бодрое. „Толпа“ ее не оскорбляла, забот о хлебе насущном не было. Муза могла нежиться в лени и сновидениях. Везде она была желанным гостем, почет ей был оказан большой, она знала, что она иногда внушает и чувство боязни, — что было ей лестно. На все эти юные впечатления бытия муза отвечала песнью, в которой грустные мотивы были случайностью. Если жизнь отказывала в радостях — а это случалось так редко — мечты заслоняли жизнь и муза чувствовала себя — „всемощнее судьбы“ (1815).

В ссылке на юге муза также скучала редко; если сердилась и считала себя обиженной, — вознаграждала себя гневом и насмешкой. На юге пережила она и ту „болезнь века“, которая стольким поэтам испортила жизнь. Эта болезнь ей жизни не испортила и только дала повод лишней раз собой полюбоваться. В минуты, когда опальный поэт бывал мрачно настроен, она к нему не приходила и он сам вызывал ее тогда, когда овладевал своими „демоническими“ чувствами настолько, что мог говорить о них спокойно. Поэт насильно не навязывал музе своих туманных страстей и тревог и предпочитал вспоминать о недавних мирных беседах.

В 1821 году, когда Пушкин увлекался свободолобием и афеизмом, и „демонизм“ уже зрел в его душе. он вспомнил, в какой буколической и идиллической обстановке он некогда встретился с музой. Ласково слушала она, как он слабыми перстами уже наигрывал внушенные богами гимны по звонким скважинам пустого тростника; с утра до вечера, в тени дубов, внимал он урокам девы тайной. Из рук его она сама брала свирель и сердце бывало исполнено святым очарованьем (1822).

Воспоминания поэта в эти тревожные годы (1821) уходили в еще более мирную даль. Он вспоминал, как еще в его

детские дни муза — наперстница волшебной старины — друг вымыслов игривых и печальных — приходила к нему в вечерней тишине и, детскую качая колыбель, пленяла его слух напевами. Прошло младенчество, она продолжала любить отрока. Она улыбалась ему, огнем блестел ее приветный взор; вся в локонах, обвитая венком, благоухала ее голова, румянилась белая грудь и тихо трепетала (1821). И были поэту дороги эти воспоминания именно в годы, когда его волновали политические страсти, когда накалило в нем раздражение, и романтический туман стал застилать перед ним ясный кругозор жизни. Муза разрешала ему волноваться, но стремилась сохранить за собой то „величавое“, что всегда свойственно прекрасному.

Ссылка продолжалась в тихой обстановке Михайловского. Беседы с музой становились чаще, никто и ничто не мешало их свободному течению.

Перед самым отъездом из Одессы, когда гр. Воронцов дал Пушкину понять, что он им как чиновником недоволен, а требовал, чтобы граф признавал в нем поэта — Пушкин писал одному из сослуживцев. „Не подумайте, чтобы я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека. Оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющее мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет меня лишить ни того, ни другого“ (1824). В Михайловском, тотчас по приезде, в сентябре 1824 года, Пушкин вспомнил об этом письме, для его музы столь обидном, и стал просить у нее прощения.

Интимный разговор, который поэт повел с самим собою был для публики озаглавлен „Разговор книгопродавца с поэтом“. Книгопродавец т. е. тот Пушкин, каким он себя рекомендовал гр. Воронцову, стал развязно разговаривать с Пушкиным-поэтом. Если бы Пушкин имел перед собой настоящего профессионального книготорговца, он вероятно отделался бы от него шутками и в интимности с чужим человеком бы не пустился. Но поэт говорил с самим собой и темой разговора были его свидания с музой.

Он был восторженно откровенен.

Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом,
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава:
В ней грезы чудные рождались,
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шопот речки тихоструйной.
Тогда в безмолвии трудов
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом
И музы сладостных даров
Не унижал постыдным торгом;
Я был хранитель их скупой...

.
Блажен кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт
И, терном славы не увитый,
Презренной чернию забытый
Без имени покинул свет!
Обманчивей и снов надежды,
Что слава? Шопот ли чтеца
Гоненье-ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?...

Затем следовали подробности из любовного дневника, которые к музе уже не относились.

Впервые в этих стихах прозвучал сильно и гневно упрек толпе, и всякий раз, когда впоследствии Пушкин думал о музе, он не мог не вспомнить о „черни“. Еще в юношеских стихах он с чужого голоса высказывал ей свое презрение. Теперь он на себе испытал ее силу.

Одиночество поэта среди „толпы“ — весьма простое и всем понятное положение. Оно невероятно запуталось, когда под словом „толпа“ наша передовая критика позднейшего времени стала разуместь толпу народную вообще и толпу необразованных людей в частности. Ничего оскорбительного, презрительного, горделивого поэт никогда не говорил толпе народной. Не против людей невежественных и некультурных был направлен его гнев. Поэт метил в индифферентов, иногда делающих вид, что красота им дорога; в любопытствующих праздно, от скуки; в пошляков при всей их образованности; в служителей мамоны, не терпящих намеков на их духовное ничтожество; в недоброжелателей и завистников. Поэт прощал людям их заботы о суетном свете, так как знал, что и он сам бывает малодушно погружен в них. Он знал, что иногда поэт бывает ничтожней многих. Но он не прощал людям, когда они не хотели видеть, не хотели понять преображения поэта. Минута такого преображения была Пушкиным художественно просто описана:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется, —
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира
Людской чуждается молвы;
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы.
Бежит он дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн
На берега пустынных волн
В широкошумные дубровы (1827).

В 1826 году Пушкину была возвращена свобода. Талант „созрел“; слава его ласкала; как художник, он не знал поражений и растущая к нему нелюбовь „толпы“ могла только свидетельствовать об его победах. Но чем бóльшим художником Пушкин сознавал себя, тем больше чувствовал себя одиноким и гнев на толпу в нем накапливался. Сбывались как будто те странные слова, которые еще в ранней юности он когда-то сказал Вяземскому: „Наш век не век поэтов, круг поэтов делается час от часу теснее. Скоро мы будем принуждены, по недостатку слушателей, читать свои стихи друг другу на ухо“ (1820).

„Лета идут, писал Пушкин в 1831 году, юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются — песни его уже не те, и читатели все те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от них, и мало по малу уединяется совершенно. Он творит для самого себя и если изредка еще обнаруживает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он уединенных в свете“ (1831).

Как не негодовать на „толпу“, с которой встречаешься в светских кругах, где этикет почтительного обхождения с музой иногда соблюдается, оставаясь только этикетом, а иногда и нет? Где встречаешься с людьми, которые не прочь разыгрывать меценатов, но с достоинством поэта не считаются? Против одобрения поэтов в высшей власти Пушкин ничего не имел, и даже жалел о том, что он не „одобрен“ (1825). Но он требовал для музы почета и признания, а не покровительства, при котором кто-нибудь на вопрос, кто такой „поэт“, мог, как в „Борисе Годунове“ Григорий Гаврилович Пушкин — ответить: „Пиит? Как бы сказать по русски — виршеписец или скоморох“. „Звания поэта, говорил Пушкин, у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ, наши поэты — сами господа и если наши меценаты (чорт их побери) этого не знают — тем хуже для них“ (1835). Как было не сердиться на „толпу“, вращаясь в обществе своего брата литератора и журналиста, который тебя травит как человека и пытается травить как поэта, надеясь повредить тебе у легковверного и малокультурного читателя?... Но если забыть о „гражданском ничтожестве стихотворцев, о зависти и клевете братии, если они в славе, и о презрении и насмешках, если произведения их не нравятся“, если забыть о „суждениях глупцов, то остается самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца зло — его звание, прозвище, каким он заклеямен и которое никогда его не покидает. Публика смотрит на него как на свою собственность, считает себя в праве требовать от него отчета в малейшем шаге. По ее мнению он рожден для ее удовольствия и дышет для того только, чтобы подбирать рифмы“ (1835).

С „толпой“ можно было встретиться и в кругу даже близких родственников и добрых знакомых. Мало ли было среди них людей, которые, как выражался И. П. Белкин и „весьма уважали и любили сочинителей, но в сие звание вступать полагали излишним и в известные лета неприличным“ (1830). Что поймут эти люди в „восторгах и счастья человека, который, когда на него находило вдохновение запирался в своей комнате и писал в постели с утра до позднего вечера, одевался наскоро, чтобы пообедать в ресторации, выезжал часа на три; возвратившись опять ложился в постелю и писал до петухов? Недели две, три, много месяц продолжалось такое странное состояние и случалось оно с ним одинажды в год, всегда осенью. Он уверял, что он только тогда и знал истинное счастье; остальное время года он гулял, читая мало и не сочиняя ничего, и слыша поминутно неизбежный вопрос: скоро ли вы нас подарите новым произведением пера вашего? Долго дожидалась бы почтеннейшая публика (таких) подарков, если бы книгопродавцы не платили ему довольно дорого за его стихи. Имея поминутно нужду в деньгах (он) печатал свои сочинения и имел удовольствие потом читать о них печатные суждения, что называл он в своем энергическом простонаречии — подслушивать у кабака, что говорят об нас холопья“ (1835).

На такие кабацкие речи можно было отвечать только самому себе и спрашивать:

Зачем крутится ветер в овраге,
Волнует степь и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, угрюм и страшен
На пень гнилой? — Спроси его!
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона,
Гордись! таков и ты поэт
И для тебя закона нет.
Исполнен мыслями влатыми,

Не понимаемый никем,
Перед кумирами земными
Проходишь ты уныл и нем.
С толпой не делишь ты, ни гнева,
Ни нужд, ни хохота, ни рева,
Ни удивленья, ни труда...

К таким признаниям Пушкин неоднократно возвращался. В 1828 году, под живым впечатлением разговоров в кругу московских философов шеллингянцев, почитателей Гете, Шиллера и немецких романтиков, Пушкин написал свое знаменитое стихотворение „чернь“, которое навлекло на него такие упреки со стороны всех поклонников гражданских мотивов. Стихотворение могло возмутить и всех тех, кто в поэзии ценил чисто этическую тенденцию, столь дорогую Пушкину. Действительно, несмотря на откровенное покаяние черни:

Мы малодушны, мы коварны
Безстыдны, злы, неблагодарны,
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки.

поэт отказался исправлять сердца собратьев; он прогнал их прочь, оставил их каменеть смело в разврате и предоставляя их бичам, темницам и топорам. Их житейского волнения поэт понять не захотел, бороться за них на пожелал и считал себя рожденным только для звуков сладких и молитв.

Жестокое стихотворение — если его понять как исповедь сердца поэта. Но оно было лишь отблеском его мысли на чужую мысль. Шеллинг и немецкие романтики, которые были тогда в большом фаворе в Москве, и которые своей туманной философией в конце концов так обозлили Пушкина, что он стал отзываться о них в очень непочтительных словах, эти страстные поклонники красоты утверждали и доказывали, что красота — лучший и наиболее верный проводник добра в жизнь. Поэта они считали венцом всего мироздания, подателем всех благ, в том числе добра, и осуждали жизнь, если она своими требованиями нарушала покой души художника и отвлекала его от „молитвы и звуков сладких“. Молясь своему богу, поэт совершал высший акт добра, на какой был

способен. Такое определение вдохновения Пушкину сначала очень понравилось, хотя он был не в силах усвоить себе его философской аргументации. Если бы он в нее мог вникнуть, он, заступаясь за „своенравного чародея, который волнует и мучит людей“, заступаясь за Аполлона Бельведерского и за жрецов, которым хотят навязать метлу — уберется бы от двух слов в этом стихотворении: он не сказал бы, что „на вдохновенной лире поэт бряцал рассеянной рукой“. Чернь могла думать, что поэт, нействительно, забавляется, а не священнодействует. Впрочем, по шеллингианскому учению и бряцание на вдохновенной лире имело свое магическое действие.

Спустя два года, думая все о той же „черни“, поэт значительно смягчил тон речи. Он говорил художнику:

Останься тверд, спокоен и угрюм
Ты — царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд; (1830)

пусть толпа бранит твой труд, плюет на алтарь и в детской резвости колеблет твой треножник!

„Смешон тот, кто требует у света участия“, писал Пушкин в это же время одному анониму. „Холодная толпа взирает на поэта, как на заезжего фигляра: если он глубоко выразит сердечный тяжкий стон, и выстраданный стих, пронзительно унылый, ударит по сердцам с неведомою силой — она бьет в ладони и хвалит или порой неблагосклонно кивает головой... Но счастье поэта не найдет благосклонного привета, когда боязненно безмолвствует оно“.

„Есть два рода бессмыслицы, говорил Пушкин. Одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения“ (1827).

Обе эти „бессмыслицы“ грозят тому, кто начнет говорить о тайнах вдохновения и творчества. Когда Пушкину приходилось говорить о них, он не разсуждал, а предпочитал описывать „приближение бога“ и спешил перейти к излюбленной своей теме — к прославлению свободы песнопения, и к раз-

мышлениям об одиночестве непонятого и оскорбленного певца. Забывая о том отзвуке, какой во всех русских сердцах будила его поэзия, он утверждал, что поэт, который как „эхо“ (1830) отзывается на все голоса людей и природы — сам остается без отзыва. Поэт требовал невозможного — отклика, который был бы равносильен звуку, его вызвавшему.

Осенью 1830 года — в эту знаменательную для его творческой силы „детородную“ осень, в деревне, куда он и раньше убегал, когда „чуял рифму“, — Пушкин набросал „Моцарта и Сальери“. В поэтической картине, в основе своей легендарной, он повторил и развил мысли, над которыми урывками думал. В психологический этюд на тему о „гении и таланте“ были вплетены мысли о тайнах творчества вообще.

Усилия ума, методичный труд и школа — они нужны таланту, но не гению. Сальери мог в этом убедиться:

Родился я с любовью к искусству;
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался, — слезы
Невольные и сладкие текли.
Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолея
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству.
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность — уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул в науке искушенный
Предаться неге творческой мечты...
Усиленным, напряженным постоянством
Я, наконец, в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой. Слава
Мне улыбнулась; я в сердцах людей
Нашел созвучия своим созданьям
И счастлив был...

Появление гения нарушило это счастье.

О небо!

Где же правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан,
А озаряет голову безумца
Гуляки праздного? О Моцарт, Моцарт!...
Ты, Моцарт, — бог и сам того не знаешь...

Что же? преклониться перед гением, беречь его, лелеять его? Его, которому дается все даром, который в нашем труде не участвует, и для земли чужой и непонятный?

Я избран, чтоб его

Остановить — не то, мы все погибли,
Мы все жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой...
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет!
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив безкрылое желанье
В нас чадах праха, после улететь!
Так улетай-же! Чем скорей, тем лучше!

Да! наследников таинственный посетитель не оставляет. Он — тайна, которая велика неожиданностью своего появления и тем, что она тайна... И великий в ней соблазн...

Моцарт со своим наивным умом выразил эту мысль до нельзя просто. Когда бы все чувствовали силу гармонии, сказал он

тогда б не мог

И мир существовать; никто б не стал
Заботиться об нуждах низкой жизни, —
Все предались бы вольному искусству!
Нам мало, избранных, счастливых, праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов...

Сальери знал, кого он убивал. И если уже Сальери — сам истинный слуга красоты — мог поднять свою руку на гения, то что говорить о других, разместившихся на первых ступенях той лестницы, которая ведет в храм Аполлона? Все они хотят, чтобы гений жил, как они живут, трудился как они трудятся и не имел бы от них тайн...

Когда Пушкин, в 1829 году, уехал на Кавказ в действующую армию, без разрешения властей, один литератор писал по этому поводу обеспокоенному шефу жандармов: „Дайте ему побегать по свету, на поисках за женщинами, поэтическим вдохновением и игрой (в карты)“.

XXIX

РЕАЛЬНОЕ И РОМАНТИЧЕСКОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ

Описывая странствия Онегина, Пушкин писал:

Мир вам, тревоги прошлых лет!
В ту пору мне казались нужны,
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопорные мечтанья
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи —
Да пруд под сенью ив густых
Раздолье уток молодых
.
Таков ли был я расцветая?
Скажи, фонтан Бахчисарая!

Может быть, что в личных симпатиях поэта к известному пейзажу и образу жизни произошла, действительно, большая перемена.

Но способность отражать жизнь в ее будничной простоте и одновременно украшать ее вымыслом за всю жизнь поэта оставалась неизменна. Обе эти тенденции, „реалистическая“ и — воспользуемся условным термином — „романтическая“ уживались в нем очень мирно. Переломов никаких не было, хотя, конечно, годы брали свое и творческая работа становилась выдержаннее и спокойнее.

Поэзия Пушкина представляет собой в нашей изящной словесности единственный пример гармоничного сочетания „реального“ с „идеальным“, „существенности“ с романтическим вымыслом. До него такие приемы в литературной обработке тем строго разграничивались, с весьма решительным преобладанием пафоса, восторга, повышенного настроения и разных пиитических украшений, над реалистической откровенностью и простотой. Пушкин — первый, а за ним Лермонтов и Гоголь, умели смотреть на жизнь одновременно глазами романтика и реалиста, переплетая символы и жизненные типы, срисовывая и измышляя обстановку. Их ученики и все, кто шли за ними, строго удерживали свое творчество от такого смещения стилей. Одни были строжайшими реалистами и натуралистами, другие столь же строгими и стильными „идеалистами“. Пушкин предвозвещал их всех. И поэзия его дорога нам одинаково, как своей жизненной правдой, так и всеми красотами мира мечтательного. Она нас не утомляет своими полетами и не заставляет томиться по ним. Художник, близкий нам человек, чувствуется во всех творениях; мы в них переживаем всю его жизнь, и часто нашу собственную; и вместе с тем всегда ощущается веяние того возвышающего нас „обмана“, который для всех нас есть вторая жизнь, не менее действительная, чем жизнь повседневная. Такое сочетание в одном художнике власти над миром идей, как понимал их Платон, с властью над миром их земных воплощений и сочетаний — явление редчайшее, и новое подтверждение прав Пушкина на „величие“, о котором говорено.

Вспомним об этих мирах вымысла и правды, — они поразят нас своим богатством.

Прежде всего личная жизнь самого поэта на всех ее этапах, — жизнь самого даровитого представителя своего поколения. Все изгибы его мысли, все смены настроений претворены в поэзию. Мы не забываем о самом поэте ни на мгновение.

О современной ему русской жизни, поскольку она развивалась независимо от его участия, он успел рассказать немного. К длинному, обстоятельному рассказу о ней Пушкин только готовился, но в своих лирических стихотворениях, он был летописцем своего времени, свидетелем, дающим ценнейшие показания.

Еще в ранней юности (1821) Пушкин задумал написать комедию из светской жизни в реальномъ стиле, пользуясь тем небольшим житейским опытом, который он приобрел по выходе из Лицея в кругу веселящейся молодежи. Работу он бросил на первых же страницах.

С 1824 года он приступил к созданию „Евгения Онегина“ и продолжал урывками работать над этим бытовым романом до 1831 года. Строгий реальный стиль был сохранен во всех песнях.

Один маленький уголок старой помещичьей жизни открылся в „Графе Нулине“ (1825).

За этим жанровым этюдом следовала историческая картина из жизни арапа Петра Великого (1827). Не будет преувеличением, если мы скажем, что и Толстой в „Войне и Мире“, в приемах реального письма, не превзошел этот первый образец нашей исторической повести.

В „Домике в Коломне“ (1830) мелькнула перед нами жанровая картина из жизни столичного закоулка, живая, смелая по новизне фигур. Она как будто предвещала те описания отдаленных кварталов столицы, в которые так любили заглядывать „реалисты“ 60-х и 70-х годов.

В том же году (1830) Пушкин набросал „Летопись села Горохина“. Это была первая попытка истинно сатирического романа из совместной жизни помещика и крепостного — несомненное предвещание Щедрина. Сатира была строго бытовая, в отличие от той сатиры общего типа, которая тогда была в большом ходу. „Летопись“ оборвалась на первых же главах.

В 1830 году стал рассказывать свои сказки И. П. Белкин. Хотя он и обладал талантом Пушкина, но сделал уступку вкусам публики и хотел написать для нее что-нибудь очень занимательное, а потому и допустил, и в сюжетах, и изложении, не мало „романтического“ и даже фантастического. Но попутно Белкин познакомил нас с жизнью на большой проезжей дороге, и мы вместе с ним провели несколько месяцев в усадьбе, и могли присмотреться к очень типичным англоманам и руссакам. Об этих повестях мы невольно вспоминаем, когда читаем мелкие рассказы Тургенева.

В 1830-32 годах количество бытовых тем, которые просились на бумагу было очень велико. Пушкин поочередно начал их обрабатывать, но дальше набросков не пошел. Все темы были русские, из современной жизни, за исключением одной темы, взятой из иностранной судебной хроники, неизвестно почему привлекавшей на себя внимание поэта. Среди этих тем были отрывки из любовного романа в письмах — психологический этюд на тему о девических идеалах и мечтаниях начала века; страничка из личного дневника молодого человека, несомненно самого Пушкина, собирающегося жениться; отрывок из неизданных записок одной дамы, свидетельницы нашествия Наполеона, фанатичной патриотки, которая умела доказать, как можно жить и дышать любовью к родине и чувствам национальной гордости; наконец, четыре отрывка очень коротких, неясных по содержанию, с набросками женских профилей, девиц и молодых дам светского круга, с которыми поэт очевидно встречался в усадьбах и салонах.

В 1833 году была написана „Родословная моего героя“ и набросан „Медный Всадник“. В основу вымысла легли взгляды Пушкина на роль старинного дворянства. Поэма была как бы иллюстрацией к политической теории, но тенденция была почти неуловима за чисто бытовыми реальными деталями, которые привлекали к себе все внимание. Даже фантастический медный всадник был вполне реальной галлюцинацией сумасшедшего. Поэма осталась неоконченной, вероятно, потому, что согласить свою любовь к старому дворянству с любовью к Петру, которая тогда владела сердцем поэта, было невозможно.

В 1835 году Пушкин опять сделал две попытки написать реальный роман из русской современной жизни. От одной по-

пытки осталось несколько страниц, которые должны были войти в состав „Египетских ночей“ — несколько личных признаний поэта о встречах с „толпой“, о работе своей в кабинете, и опять профили девиц и дам светского круга.

От другой попытки осталось также несколько страниц и подробный план, из которого видно, что роман „Русский Пелам“ (заглавие взято из романа Bulver'a Pelham) был чрезвычайно широко задуман, с очень занимательной завязкой, огромным числом портретов с живых лиц, которых Пушкин знал лично. Что очень характерно, — некоторые портреты должны были быть списаны с декабристов.

Как видим, стремление отражать действительность в ее правде никогда Пушкина не покидало, и проживи он дольше, с его именем был бы, вероятно, связан наш первый реальный художественный роман.

Наряду со всеми этими произведениями реального письма, шли творения поэта в совсем ином стиле — „романтические“ по замыслу и приему обработки.

Легендарный и фантастический элемент был богато представлен, начиная с „Руслана“ (1817-1820). Сказка не исключала, однако, отступлений и разговоров на вполне жизненные темы.

Были образцы баллад в романтическом стиле. Еще в Лицее был создан „Сраженный рыцарь“ (1815) и, несколько лет спустя, „Песнь о вещем Олеге“ (1822), затмившая своим условно бытовым колоритом все современные баллады — даже баллады Жуковского — и воскресшая затем в таком блеске красок в творчестве Алексея Толстого.

Фантастическую балладу сменила картина из жизни горцев и вплетенный в нее туманный рассказ о душевном разладе, который тогда царил в душе поэта (1821). Реализм переживаний был замаскирован великолепными картинами восточной природы, условным типом „узника“ и влюбленной в него освободительницы.

За „Кавказским Пленником“ следовал „Бахчисарайский фонтан“ (1822) — песнь живой любви, но не в форме элегии, а в форме романтической сказки.

Простой житейский случай дал повод задумать целую поэму о „Братьях разбойниках“ (1821-1822) и ультра реальный тип вывести в слегка демоническом освещении.

В 1824 году были написаны „Цыгане“ и в бытовую картинку цыганской жизни был вплетен любовный мелодраматичный роман, в котором была повторена, но в новом решении, старая тема о гибельном столкновении детей природы с выродками цивилизации.

Во всех этих поэмах мы имеем в сущности личные признания самого поэта, но только в форме поэтических грез. Оба стиля и реальный и романтический слиты.

Смешение стилей встречалось часто и в разработке исторических тем. В 1822 году были задуманы одновременно драма и поэма из жизни прославленного первого русского борца за политическую свободу — Вадима Новгородского. Терпенья хватило лишь на несколько страниц, так как тема была до нельзя условная и ни с какой исторической правдой ужиться не могла. Та же участь постигла и несколько других тем из истории древней Руси киевского периода и московского.

В 1825 году был создан „Борис Годунов“ — „романтическая“ драма, как Пушкин сам называл свою трагедию. Но реальная правда в психологической мотивировке и удачно выдержанный исторический реализм были также ее достоинствами. После „Бориса“ Пушкин избрал своим героем Петра и дал два его портрета — один неприкрашенный в „Арапе“ (1827), другой с ретушью в „Полтаве“ (1828). („Арап“ приближался к летописи, „Полтава“ — к торжественной оде, и сочетание двух портретов одного лица, вместо того, чтобы оттенять их несходство сливало их в один цельный образ. В рассказе о Петре была вставлена романтическая повесть о любви Марии к Мазепе.

В „Дубровском“ (1832—1833) строгая бытовая картина сплелась с романтической и тогда еще ходкой повестью о разбойниках, а „Капитанская дочка“ (1833—1834), погубившая „Историю Пугачевского бунта“, была в очень реальных тонах выдержанная фантазия, большинство страниц которой можно было пояснить историческими документами.

В 1834 году была написана „Пиковая дама“. Силуэт Екатерининской старины и жанровые этюды из жизни современных игроков и столичной дворни были объединены под фантастической оболочкой.

Еще в 1832 году фантастическое, вторично после „Руслана“, вторглось в творчество Пушкина. Он работал тогда над „Русалкой“. Глубокая, повседневная трагедия женского сердца, правдивая в каждом своем слове и жесте, преобразилась в сказку, народную, русскую, в costume национальной старины, разукрашенную старыми обрядами. Это был каприз мечты, обрывки каких то, быть может, воспоминаний и плод наблюдений большого знатока женского сердца.

Так в творениях Пушкина реальное и романтическое уживалось вместе. Правда психических движений была соблюдена; но и мечта была свободна в выборе своих тем — бытовых, современных, исторических, легендарных и фантастических, и также свободна в их окраске и освещении.

Певец и бытописатель русской жизни, Пушкин, в короткий срок, которой судьбой был отведен ему (1820—1836), успел вспомнить также и о многих веках, прожитых человечеством до того времени, когда Россия вступила в семью европейских народов. В таких исторических воспоминаниях и фантазиях романтики было много, но психологическая правда в них также не нарушалась.

Выступали греки и римляне. Они говорили о своей жизни и чувствах языком старой элегии, ямба, сатиры и эпиграммы. Иногда русские люди говорили о себе, чеканя русский язык по античной модели. Воскресали античные, исторические и легендарные фигуры. Ромул и Рем казались удобной темой; поэт задумал повесть из времен Нерона, и Клеопатра занимала его воображение.

За язычниками шел христианин, дикий горец, проповедник морали христианства, и образ самого Иисуса смущал фантазию поэта. За христианином шел еврей, который должен был рассказать печальную повесть из истории гонений; за ним шел исповедник Ислама, славивший Пророка в „Подражаниях Корану“, в которых, как утверждают знатоки, Пушкиным была уловлена вся сущность учения. Выступали рыцари, влюбленные в свою даму, рыцарь палладин св. девы, рыцарь грабитель и скупой, многие из них — в особенности скупой и насильник — могли поэту напомнить о лично им пережитом и виденном, но они были не переодетые рыцари, а настоящие...

Пушкин не собирался, как Виктор Гюго, писать „Легенду веков“, но сколько образов и типов попало из этой легенды или должно было попасть на страницы его творений! Грешники из „Божественной комедии“, рыцари Ариосто, папесса Иоанна, в существование которой поэт, очевидно, верил, благородный дук Феррары, и его наместник, испанцы и португальцы с гитрами и мечами, Филипп II, орденский рыцарь, король Родриг, Беральд, Дон Жуан, Фауст и ряд великолепных портретов французских писателей и политических деятелей конца XVIII века (в „Послании к Юсупову“). Целая галерея фигур и образов для России и чужих, но близких поэту по тем или иным, теперь уже неуловимым воспоминаниям. Пережитое и мечта работали сообща над этими картинами.

В 1830 году, задержанный холерой в деревне, Пушкин перевел с английского оригинала „Пир во время чумы“. Кто в этой мелодрамѣ не отличит чужих голосов от живого голоса самого поэта, для которого все, даже ужасы жизни — родник вдохновения?

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в раз'яренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в Аравийском урагане,
И в дуновении чумы!
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неиз'яснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Дружбе жизни и фантазии, теснейшему союзу вымысла и правды обязаны мы исключительной красотой творений Пушкина. В этом его сходство со многими „великими“ в отличие от некоторых из них. Не таковы были Корнель и Расин, столь уважавшие „правила изящного“; не таков Шиллер, который любой житейский мотив почти всегда играл октавой выше или ниже; не таков Шелли, которому жена однажды сказала — „напиши что-нибудь, в чем бы люди твоего века себя узнали и что могли бы понять, не отрекаясь от своего чело-

веческого образа"; не таков Виктор Гюго, который на весь мир в его прошлом, настоящем и будущем смотрел сквозь цветные и увеличительные стекла, иногда заменяя их кривым зеркалом.

У Пушкина разве только в самых ранних стихах есть цветные стекла. Увеличительных Пушкин не допускал, а кривые зеркала иногда любил, когда бывал зол или шутливо настроен, но серьезного значения им не придавал.

XXX

ТРАГИЧЕСКОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ

Когда в наши дни обзираешь все несметное богатство, накопленное нашей изящной словесностью за столь короткий срок как столетие, протекшее со дня смерти Пушкина — удивляешься, сколь многие формы, в которые облекается наше художественное слово, были уже Пушкиным предвосхищены. Образцы всевозможных видов лирической песни, образцы повести разных стилей, романы исторические, бытовые, нраво-описательные были даны в творчестве Пушкина и притом не как опыты, а как нечто художественно завершенное. Драма и трагедия были также представлены во многих образцах.

Исключение составляет лишь комедия. Пушкин не написал ни одной комедии; хотя и набрасывал планы и даже отдельные диалоги.

В юности Пушкин был большим театралом. Таким же был и в годы ссылки на юге, но кажется, что с годами интерес к театру в нем падал — иначе он не обошел бы молчанием такого литературного и театрального события, каким был „Ревизор“. Но если страсть к театру пропадала, то любовь к драматической форме изложения от этого не страдала. С лицейских годов Пушкин любил драматическую форму. Когда вспоминаешь, какой это был остроумный наблюдатель; когда в письмах, в критических статьях и стихотворениях любишь комизмом некоторых речей и положений; когда знакомишься с его суждениями о той или иной комедии, будь она комедия Мольера или Грибоедова, — думаешь, как много дан-

ных имел этот художник, чтобы дать нам образец истинной комедии нравов, без такого явного преобладания сатирического элемента над комическим, как в пьесах Фон-Визина, Капниста и Грибоедова. Но Пушкин с комиками-драматургами в состязание не вступил и этим обеспокоен не был. Он думал, вероятно, что, имея в прошлом Фон-Визина и Капниста, а в настоящем Грибоедова и Гоголя — с которым Пушкин обдумывал план „Ревизора“ — тревожиться за эту отрасль русской литературы не приходится.

Иначе обстояло дело, когда Пушкин начинал думать о драме и о трагедии. Он знал, что у нас пока еще нет национальной, народной трагедии, и это его беспокоило. За иностранной драматургией он следил очень внимательно. Он написал даже (не без помощи иностранцев) статью о „драме“. Трагедии и писателю — трагику Пушкин поставил чрезвычайно высокие требования. „Что развивается в трагедии? Какая цель ее?“ — спрашивал он, и отвечал: „Человек и народ, судьба человеческая, судьба народная. Драматургу нужна философия, бесстрашие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли, ...и свобода ...Что привлекает внимание образованного, просвещенного зрителя, как не изображение великих исторических происшествий. Драма (трагедия) никогда не была у нас потребностью народною... Сумароков, несчастнейший из подражателей. Его вялые, холодные произведения не могли иметь никакого влияния на народное пристрастие. Озеров это чувствовал. Он попытался дать нам трагедию народную и вообразил, что для этого довольно будет, если выберет предмет из народной истории. После „Дмитрия Донского“, после „Пожарского“ (произведения незрелого таланта) мы все не имели трагедии. Андромаха Катенина (может быть, лучшее произведение нашей драмы по силе истинных чувств, по духу истинно-трагическому) не разбудила нашу сцену. Трагедия наша образована по примеру трагедии Расина. Как ей перейти к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади? Как ей вдруг отстать от подобострастия? Как ей обойтись без правил, к которым привыкла? Где, у кого научиться наречию, понятному народу? Какие суть страсти сего народа, какие струны его сердца, где найдет она себе созвучия?

Словом — где зрители, где публика? Перед ней восстанут непреодолимые преграды; для того, чтоб она могла расставить свои подмости, надобно переменить обычаи, нравы и понятия целых столетий“ (1830).

Требования, которые Пушкин ставил русской народной трагедии были, как видим, очень высоки: трагедия должна быть национальным представлением, говорить о важных исторических событиях и притом так, чтобы народ мог понимать ее. Однажды Пушкину показалось, что трагедия Погодина „Марфа Посадница“ есть именно такой первый опыт народной трагедии. Трагедия эта, действительно, освещала один из весьма знаменательных эпизодов нашей старой государственной жизни — борьбу самодержавия Москвы с народовластием Новгорода. О своем „Борисе“, которому „Марфа“ была обязана своим рождением, Пушкин — говоря о трагедии Погодина — умолчал, и не из скромности только. „Годунов“ был в сущности семейной хроникой царя Бориса в драматической форме. Народ в этой хронике стоял на самом последнем плане, либо бессмысленно шумел, либо молчал. Царь не был носителем законной царской власти, так как (по мнению поэта) завладел престолом путем преступления, совершенного над царской идеей. Самозванец был исторической случайностью, а не проявлением народной воли. Никаких глубоких государственных, политических и социальных проблем хроника не затрагивала. Трагедия свелась в самом существенном трагическом своем положении к душевным переживаниям преступного человека, сознающего вину. Это была не трагедия, но яркая бытовая историческая картина. Пушкин был прав, не претендуя на ее национальное, народное значение.

Опыта с „Борисом“ поэт не повторил, хотя, как видно по черновым наброскам, некоторые страницы нашей истории, как темы для драмы, останавливали на себя его внимание.

Талантом драматурга-трагика Пушкин обладал бесспорно. Сколько сцен истинно трагических по содержанию и по форме, можно найти в его поэмах и драматических этюдах, в „Цыганах“, „Полтаве“, „Скупом Рыцаре“, „Моцарте и Сальери“, „Каменном Госте“, „Русалке“! В этих произведениях трагик-драматург проявил себя с бóльшей силой, чем в „Борисе“. Но к созданию народной трагедии Пушкин не приступал.

Найти сюжет для такой трагедии было, действительно, делом непомерно трудным, если не касаться тем, связанных с народной вольницей, в том или ином виде.

Если было что трагичного в Киевской Владимировской Руси, то разве распри князей и монгольское иго. Но времена эти были такие далекие, терялись они в тумане легенды, пружины трагических событий были так несложны, что создать народную трагедию из этого матерьяла вряд-ли было возможно. В Московской Руси было три трагических положения, которыми драматург мог воспользоваться — внутреннее состояние государства при Иоанне IV, Смутное Время и реформа Петра. Времена Ивана Грозного могли дать много матерьяла для драматурга, если бы он пожелал сосредоточить внимание на самой личности нервно больного царя, и в нашей драматургии после Пушкина много таких психологических этюдов в драматической форме, но это не народные трагедии, а индивидуальные. Если же в царствовании Грозного царя оттенять трагическую сторону самовластия и его столкновения с лицами и сословиями, то тема становилась, либо совершенно нецензурной, либо должна была обратиться в сплошное восхваление государственной мудрости и твердости Иоанна, как это и сделал Погодин в своей драме. Пушкин присматривался к Иоанну; портрет нарисованный Карамзиным ему очень нравился, но симпатии его лежали к Курбскому.

В 1828 году Пушкин набросал начало не то поэмы, не то баллады об „Опричнике“. Наткнувшись на виселицы и на трупы, которые на них болтались, наткнувшись на всевозможные орудия пыток, которыми была завалена лобная площадь, конь опричника зафыркал, захрапел и остановился. Опричник всетаки пронесся под висящим трупом... но поэт за ним следовать не пожелал и тема была забыта.

Наиболее богатый матерьял для народной трагедии могло дать, конечно, Смутное Время — Эпоха, в которую пришли в такое брожение столь разнообразные государственные, национальные, социальные и религиозные силы и стремления народных масс. Это время и стало самым богатым родником, из которого черпали все наши трагики. Пушкин был первый из них, но его трагедия остановилась на самом пороге Смутного Времени. Продолжать эту историческую хронику Пушкин не

пожелал. Может быть недостаток знаний — в его время очень скудных, именно по этой эпохе; может быть необычайная сложность исторического процесса и пестрота и обилие действующих лиц этой народной трагедии помешали Пушкину создать свою хронику по образцу „Генриха VI“.

Реформа Петра, она представляла свои затруднения для трагика драматурга, помимо того, что героем являлся царь царствующего дома Романовых. Требовались огромные знания в исторической области, совсем еще не разработанной. Пушкин приступил к их собиранию и, по мере того как углублялся в изучение эпохи, его совесть историка и может быть драматурга становилась все более и более требовательна. Кто знает в какую окончательную форму вылилась бы та История Петра, которую Пушкин задумал. Опыт с Пугачевым мог в конце концов отбить у него желание писать историю и его изучение Петровской эпохи могло обогатить нашу словесность народной эпопеей, конечно не в старом стиле, историческим романом, а может быть и народной трагедией. Трагического в смене старой Руси на новую было много.

В истории после Петра было также не мало эпизодов, которыми драматург мог воспользоваться. Дворцовые перевороты с убийством и без него, временщики, засилие иностранцев, Иоанн Антонович, гибель Петра III, Мирович, Пугачев, Павел I, нашествие Наполеона, Декабристы... Но, не говоря уже о невозможности разрабатывать эти темы в Николаевское время, они как матерьял для народной трагедии не годились. Народ в развитии этих эпизодов участия не принимал, или участие его было пассивное. Один Пугачевский бунт составлял исключение, и Пушкин использовал его по своему в „Истории“ и в „Капитанской Дочке“.

Истинная народная трагедия, предвестница трагических потрясений всего государственного и народного организма разыгралась уже после Пушкина на бастионах Севастополя.

Пушкин был прав, когда говорил, что у нас пока нет еще народной трагедии.

Но помимо трагедии народной существовала трагедия мировая, которой Пушкин восхищался, читая Шекспира, Кальдорона, Расина, Корнеля, Гете, Шиллера. В отрывочных драматических сценах, им написанных, Пушкин был не меньшим

мастером, чем эти „великие“, но в состязание с мировыми трагиками Пушкин не вступал, да и не мог вступить при своей правдивости в творчестве. Все великие трагедии созданы были вековой культурной работой человечества и покоились они на великих, в самой жизни пережитых трагедиях. Культурное прошлое России при Пушкине было ничтожно, и в судьбах мировой истории, которая создала великие памятники мировой литературы, нашей доли участия мы пока не имели. Прожитое нашим народом прошлое не могло пока раз'яснить нам трагического смысла бытия. И поэт, хотя бы гений, разгадать его также не мог.

Да и к изображению трагического вообще Пушкин не имел особой склонности. „Трагедия, говорил он, выводит перед народом преимущественно тяжкие злодеяния, страдания сверх'естественные, даже физические“. К изображению таких страданий, ужасных и жестоких душа Пушкина не лежала. Он допускал, когда нужно было печальные и кровавые житейские развязки, но жестоким пользовался редко и неохотно. В истории Пугачевского Бунта он все жестокое и ужасное запротоколил и отнес в примечания. Много красок могла бы ему дать эта сторона событий для „Капитанской Дочки“, но он пользовался ею очень умеренно. Что сделал бы из этого материала француз романтик его времени, драматург, романист или историк! И мы знаем, как Пушкин сердился на „кровожадных“ французов, любителей ужаса во всех его видах. В „Сценах из рыцарских времен“, при описании восстания вассалов (т. е. крестьян), трагическое чуть что не обращено в комическое, и свирепые и жестокие вассалы, какими они были в действительности в эпоху Жакерии, представлены какими-то наивными головотяпами. В хронике Мериме, о которой Пушкин вспоминал, когда писал свои сцены — это трагическое положение освещено совсем иначе.

Одно время Пушкин думал использовать для литературной обработки стрелецкий бунт и личность царевны Софии, но от намерения своего отказался. Поэт очень любил Петра и не любил говорить об его жестокостях и казнях. В стихотворениях и в прозаических отрывках, он затушевывал кровавую сторону реформы. Кровавая картина его тяготила. Правда, он сказал однажды, что он дорого бы дал за какого-то па-

лача с засученными рукавами, на которого он наткнулся в стихотворениях Рылеева, но когда ему самому пришлось описывать казнь Кочубея, он испытал тягостное чувство. „Какой отвратительный предмет! писал он по поводу образа Мазепы. Ни одного доброго благосклонного чувства! Ни одной утешительной черты. Соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость... Сильные характеры и глубокая трагическая тень, набросанная на все эти ужасы — вот что увлекло меня. „Полтаву“ написал я в несколько дней, далее не мог бы ею заниматься и бросил бы все“.

Наконец, в изображении гибели семьи Годунова поэт решил прибегнуть к старому правилу классической трагедии: убийство было совершено за сценой и даже рассказа о нем нет в драме. А Пушкин, конечно, помнил, и „Короля Джона“, и „Ричарда III“, и сцену в замке Макдуффа. Но он не хотел, а может быть и не мог, рисовать таких сцен.

Он даже заступился за память лже-Дмитрия и радовался тому, что нет убедительных свидетельств, подтверждающих легенду о скорбной судьбе царевны Ксении... *Je me fais une religion de ne pas y croire* говорил он.

XXXI

Облик поэта, как человека и художника, такой светлый и жизнерадостный, и в словах его столько благословения бытию! Печальная, мрачная сторона жизни, она не обойдена, не скрыта умышленно, но вместе со стороной светлой, она составляет такое гармоничное целое! Первый по времени гений, которым судьба нас благословила, он такой уравновешенный, всеобъемлющий и справедливый в конечном своем суде над радостями и страданиями жизни!

Есть писатели, и их немало, и среди них люди с огромным дарованием, творчество которых как-бы обвинительный акт против жизни.

Мотивы, которые побуждают художника так отрицательно относиться к тому явлению, которое обуславливает его творчество и ради которого это творчество существует, бывают разные. Кроются они иногда в ходе самой жизни его окружа-

ющей, иногда в той общей философской оценке бытия, на которой философ-художник остановился, иногда эти мотивы глубоко заложены в самом характере писателя, его врожденных склонностях, врожденных настроениях, вплоть до болезненного состояния телесного. Пушкин был на редкость человек здоровый; врожденной склонности смотреть на жизнь сквозь темные стекла в нем не было; на высоты философской мысли он вообще восходить не любил, а в особенности на такие, где исчезали лучи и блеск веселых красок; а сама жизнь, как чередование личных переживаний и панорама сменяющихся на глазах событий — радости ощущения бытия у него не отнимала.

Сентиментальным оптимистом, каковых в его годы было много, он не был; восторженным романтиком также не был; он знал, что такое мрачная мысль и настроение туманно холодное, но в такой атмосфере духа он не нежился и пребывать не любил; религиозное смирение и отказ от воли самодовлеющей личности были ему также чужды. Он был мудрец в строгом смысле слова — повелитель мыслей, творец чувств, но отнюдь не их раб.

Баловать человека своей любовью и снисходительностью — Пушкин не баловал. Но он и не чернил его, и в таком очернении не искал предлога для самолюбования. Он знал, как жесток бывает человек. Природа, она жестока, но не по доброй воле — а человек, он готов этой невольной жестокостью воспользоваться в своих расчетливых целях.

В пустыне чахлой и скупой,
На почве зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой
Стоит один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой, прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,
И тигр нейдет; лишь вихрь черный
На древо смерти набезит —
И мчится прочь уже тлетворный.

И если туча оросит
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей уж ядовит
Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом,—
И тот послушно в путь потек,
И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу,
Да ветвь с увядшими листьями, —
И пот по бледному челу
Струился холодными ручьями.

Принес — и ослабел, и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы,
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы (1828).

Страшное стихотворение! Оно, как сам Анчар, стоит одиноко среди мира, созданного фантазией художника.

Если бы поэт только захотел — какими словами обличения и упрека мог бы он обрушиться на человека! Но он не захотел, потому что был справедлив. Если ему случалось изображать зло и порок, он всегда находил ему объяснение, не оправдывал зла, но изображал его как неизбежное следствие психических предпосылок, в которых сам человек бывает в большинстве случаев не волен. Падение человека было в его глазах несчастием, о котором надо помнить, но говорить по возможности реже; и, действительно, как мало в творчестве Пушкина примеров такого падения! Их почти нет; и в поэте — преступный и грешный человек нашел не судьбу своего, а друга.

После романтических бурь юности, примиренный и спокойный взгляд на жизнь и человека установился в душе художника быстро, без резких колебаний, переломов и потрясений.

Смерть, оборвав его жизнь, сохранила за его творчеством 1826—1836 годов красоту и цельность монолитного памятника его эпохи — эпохи, лежащей между мечтательными, свободолюбивыми, затем слегка разочарованными годами второй половины царствования Александра I и эпохой сороковых годов, полной новых тревог философской мысли, новых романтических порывов души и нового свободолюбия.

Вся злоба повседневной жизни, весь ее горючий матерьял, к которому Пушкин до конца дней не боялся прикасаться, сгорали в пламени вдохновения без остатка. От них в художественных произведениях последних десяти лет жизни поэта не оставалось и головни. Но минута вдохновения улетала и полный темперамента человек продолжал откликаться на все житейское.

Ровным пламенем горела душа художника, когда смерть подошла к нему. Жизнь он любил страстно. За несколько дней до смерти он писал:

О, нет, мне жизнь не надоела,
Я жить хочу, я жизнь люблю!
Душа не вовсе охладела,
Утрата молодость свою.
Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья,
Для чувств.....
Зачем.....
Могилу.....
Что в смерти доброго?

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	5
I. Национальный поэт	9
II. 1817—1836	13
III. Печали и радости жизни	18
IV. Темперамент и основная черта характера	31
V. Веселая молодость и прощание с ней	38
VI. Песнь любви	46
VII. Шутка и сатира	55
VIII. Военные мотивы	59
IX. Религиозное настроение	66
X. Свободолюбие	76
XI. Демон	84
XII. Разбойник	96
XIII. Евгений Онегин	101
XIV. 14-ое декабря 1825 года	109
XV. Царь	120
XVI. Политическая система	132
XVII. Дворянский вопрос	147
XVIII. Крестьянский вопрос	155
XIX. Деревня. Пейзаж. Сказка	166
XX. Россия и Европа	175
XXI. Историк	180
XXII. Мысли о журнале	185
XXIII. Оценка русской словесности	195
XXIV. Западная литература ближайшего времени	203
XXV. Влияние. Заимствование. Подражание.	211
XXVI. Великие предки	220
XXVII. Тайна поэта	227
XXVIII. Признание художника	229
XXIX. Реальное и романтическое в творчестве	242
XXX. Трагическое в творчестве	250
XXXI.	256